

Пасьянс “Четыре дамы”

“Используется колода из 32 карт. Королей вынимают. Кладут на стол четыре карты, одну возле другой. Если среди них есть туз, его располагают выше первой карты. На эти четыре карты постепенно перекладывают всю колоду, отбирая из нее тузы по мере их выхода. На тузы, выложенные вверху, помещают семерки, восьмерки и прочие карты до дамы, которая завершает пачку...”

Три старухи пили коньяк в купе скорого поезда “Киев-Ленинград”. Точнее – они доливали коньяк в растворимый кофе, и ни одной не стало дурно, хотя вид все они имели гипертонический.

Такой же вид имела и четвертая старуха, непьющая, которая, поддавшись общей бесшабашности, прихлебывала по капельке несладкий кофе с видом светской львицы. Но в общую картину она все же не вписывалась. Даже постороннему человеку с первого взгляда было ясно, что в глубине души она весь этот разгул осуждает. И действительно, Дина Львовна не только алкоголя не употребляла – она даже мяса не ела. И вообще придерживалась строгой диеты. Но ей не хотелось, чтобы попутчицы решили, будто она брезгует их дорогими закусками, и во избежание такого впечатления Дина Львовна с трудом сжевала кусочек острого вонючего сыра, источенного купоросной зеленью. А вдобавок налила себе почти полстакана напитка, поднимающего давление.

И напрасно. Попутчицам было безразлично, ест она или не ест, пьет или не пьет – и если пьет, то что именно. Они ее привычно не замечали, включая интеллигентную Анну Даниловну, взгляд которой с усталой легкостью обходил добродетельную Дину Львовну или мелькал, перечеркивая ее, как... как те безразличные огни, что проносились мимо, назад, к своим замершим в густо-синей тьме городкам и поселкам.

Анна Даниловна, полагая, что поезд ее жизни приближается к станции назначения, ни в чем себе не отказывала и не принуждала себя изображать чувства, которых не испытывала. Она и в молодости-то была не особенно внимательна, а теперь ей приходилось делать тяжкие усилия даже для того, чтобы сосредоточиться на ком-нибудь, действительно ей приятном. А уж стараться ради нудной Дины Львовны... Сколько раз слышано было про этих цыплят, которых резали для свадебного стола, про добрую девочку Диночку, которая с тех пор не прикасалась к мясу “этих несчастных, ни в чем не повинных животных”! Могла бы, кстати, задуматься о том, что все-то вокруг едят. И, значит, они не такие добрые, не такие тонкие, как Дина Львовна. Ну прямо людоеды!

Конечно, ничего подобного младенчески бесхитростная Дина Львовна в виду не имела. Кстати, она и внешне походила на пышно вскормленного младенца гигантских размеров. Бывают такие младенцы: все в ямочках, перетяжечках... С назидательным выражением лица и честной, удовлетворенной улыбкой. Прибавьте к этому стерильно-белую, искристую, как мыльная пена, седину – ну просто реклама шампуня!

Вегетарианством Дины Львовны никто не интересовался, но почему-то многих волновало, не девица ли она. Косвенно такую гипотезу подтверждала назойливость историй о том, как она была неприступна, и как в нее влюбился сосед по даче (главврач детдома, студент-практикант, столяр-краснодеревщик, бандит-рецидивист), и как он ей писал (кричал, обещал)... “Разбудил весь детдом. А что я могла поделывать? – строго спрашивала Дина Львовна. – Я была молоденькая, хорошенькая...”

Дина Львовна не замечала того, что попутчицы ее не слушают и лишь ждут в молчании, когда же она закончит. Обижалась она лишь в тех случаях, когда неожиданно кто-нибудь выхватывал из россыпи ее рассуждений слово, имя, название болезни и сам начинал рассуждать об этом – так вредные дети отбирают у маленького машинку или куклу, а его самого оттесняют в сторону. “Он подарил мне свою книгу с трогательной подписью: “В память об общей молодости и о лузановской даче...” – говорила Дина Львовна. А Анна Даниловна – хват! – будто мячик поймала: “Ах, какой он был музыкант! Как он играл Четвертую балладу! Лучше, чем Нейгауз! Я его слушала еще в тридцатые годы. Он часто бывал у одних моих друзей... Я просто счастлива, что попала на его последний концерт! Кто бы мог подумать, что он скончается через неделю! Он играл Листа с поразительной энергией! И что еще всех изумило – он исполнял на бис пьесы совершенно неожиданных для него авторов! Форе! Сати!”

Говорила, говорила... Не давала вставить ни слова, хотя Дина Львовна могла бы рассказать о том, как был поставлен неправильный диагноз, и о том, что показало вскрытие – вещи, для присутствующих куда более любопытные, чем никому не ведомые Форе и Сати. Эти имена могли бы что-то сказать разве что молоденькой скульпторше, которая спала на верхней полке.

Однако все рассуждения Анны Даниловны выслушивались с подчеркнутым, почти подобострастным интересом. Уж такова была Анна Даниловна: некоторая дистанция (следствие дворянского происхождения), некоторый таинственный флер, оставленный лихорадкой декадентской юности, солоноватая скабрёзность, мелькающая и в улыбке, и в манере курить (по всей вероятности, следствие страшного опыта послереволюционного выживания). И еще нечто... Досада? Вина? Человека, уцелевшего в крушении.

О прошлом своем Анна Даниловна никому не рассказывала. Но откуда-то все знали, что муж ее был крупным архитектором, строителем церквей, собирателем старинной церковной утвари и вообще антиквариата. Умер он в начале пятидесятых годов своей смертью, в собственной квартирке. Знали, что она некогда переписывалась с Маяковским и Мейерхольдом, поскольку их письма к Анне Даниловне были опубликованы в журнале “Костер”. Говорили также, что она была любовницей Андрея Белого и Хлебникова. Ничего другого об этих поэтах не было известно никому из присутствующих, за исключением все той же спящей скульпторши.

Кстати, скульпторша не спала, а только притворялась спящей. Еще бы! Ни одна из старух не подумала понизить голос. Вдобавок они дымили прямо в купе, не скрываясь от проводницы.

Проводница их не трогала, то ли ошарашенная щедрой платой за кипяток, то ли всем зрелищем в целом. Она даже сходила в соседний вагон за подружкой и как бы случайно провела ее мимо распахнутой двери, и та увидела своими глазами, как четыре старые слонихи в полвторого ночи хлещут коньяк с кофе и курят папиросы.

Ну, четыре-то – не четыре: уже известно, что Дина Львовна не курила и даже кофе свой не допила... Но на ходу такого не заметишь, а вот произвести впечатление Дина Львовна успела – и своей яркой сединой, и размерами, и улыбкой радушной хозяйки.

Для такой улыбки она имела основания. Поскольку именно в ее билете была указана полка, на которой она сидела и которую уступила Юлии Юрьевне. Та побоялась спать на своем законном месте, в соседнем купе с двумя пьющими мужчинами и с велосипедом над головой. Дина Львовна тоже не решилась туда перейти и предложила это сделать командировочному с очень неблагополучными ботинками, занимавшему верхнюю полку напротив молоденькой скульпторши. Тот был не против, но сомневался в способности Дины Львовны взобраться на верхнюю полку. “Ничего-ничего, – успокоила его проводница, – мы все поможем. Зато бабушек никто не будет беспокоить. Они себе лягут раненько...”

Избавленные от упомянутых ботинок, спутницы Дины Львовны хоть за это должны были испытывать к ней чувство глубокой признательности. Но... Такова уж была ее судьба: всегда и за все – неблагодарность. Дина Львовна так привыкла к ней, что даже не очень замечала. Кто-то бы, например, на месте Дины Львовны обиделся на Наталью Тарасовну, которая была всего лишь гостьей в этом купе, но расселась так, что оттеснила законную владелицу полки к самой двери и вообще как-то... именно оттеснила. Но Дина Львовна видела в этом не оскорбление, а исключительно здравый смысл. Во-первых, Наталья Тарасовна курила, и ей важно было поэтому держать локоть на углу стола. Во-вторых, она пила наравне с Анной Даниловной. В-третьих, ела, беззастенчиво опуская тяжелую лапу в чужие пакеты, и, несомненно, затолкала бы Дину Львовну, воспользуясь та своим правом сидеть у окошка.

У Дины Львовны было хорошее, даже приподнятое настроение, поскольку она не думала, что при своей астме, гипертонии, а также диабете может так хорошо себя чувствовать, выпив полстакана кофе в туго задымленном помещении и в столь позднее время. Обычно Дина Львовна ложилась в десять часов, но сейчас готова была сидеть хоть до утра. Так было бы даже лучше, поскольку лезть наверх не очень хотелось. Особенно смущала мысль о том, что ночью ей понадобится спуститься в туалет. С легкой грустью она сознавала, что поспешила и понапрасну создала себе все эти неудобства.

Дело в том, что Юлия Юрьевна, всегда такая деликатная и предупредительная с ней, переняла вдруг манеру поведения Анны Даниловны и Натальи Тарасовны. Как человек со стороны, приезжающий ненадолго в командировку, до сих пор она воспринимала положение Дины Львовны несколько завышенно, основываясь исключительно на ее самоуважении. Здесь же, в неслужебной обстановке, она уяснила себе истинное положение вещей. Тем более что в ночном поезде Дина Львовна не посылала секретаршу за билетами, не звонила в гостиницу, не усаживала московскую гостью на почетное место рядом с председателем Совета и не представляла ей художников, приехавших с периферии и принимавших Дину Львовну за главное начальство...

Итак, Дина Львовна смотрела на Юлию Юрьевну и подумывала о том, что той гораздо легче было бы взобраться наверх. Ростом она была в полтора раза выше Дины Львовны и в целом как-то подвижнее ее. Да она и хотела лезть на верхнюю полку. Это Дина Львовна заартачилась: “Нет, нет! Вы у нас дорогая гостья! Я тут моложе всех – я и полезу!”

Тоже, девочка нашлась... Да Юлия Юрьевна казалась моложе ее лет на десять! Иногда ее вообще можно было принять за молодую женщину, которая не следит за собой и поэтому так отвратительно выглядит.

Юлия Юрьевна действительно за собой не следила и даже волос не красила. Этот неприятный грязно-русый оттенок был дан ей от природы. Тем более заблуждался тот, кто думал, что Юлия Юрьевна подводит глаза, слишком яркие, слишком ясные для такого лица. Из косметики она пользовалась только перламутрово-розовой помадой. Причем после того, как помада исчезла, смытая кофе с коньяком, строгие губы Юлии Юрьевны показались даже свежее, поскольку не так заметны стали тоненькие вертикальные складки.

Впрочем, при чем тут губы, при чем тут глаза! Просто легче ей было задрать свою длинную ногу. Но Юлия Юрьевна спорить не стала. Привыкла к тому, что в Киеве за ней все ухаживают. И не только в Киеве. Ибо она являлась ответственным секретарем Всесоюзного художественного совета по играм и игрушкам, то есть как бы начальством над всеми.

Давно уже следовало сообщить, что именно на неординарной ниве детской игрушки трудились все присутствующие. А то всё о папиросах, о редких огнях, опрометью несущихся обратно в Киев, о ложечках, болтающихся в коньяке, о спящей (то есть не спящей) на верхней полке скульпторше...

Впрочем, нет. Скульпторша в этом повествовании лицо как раз не последнее, хотя и ехала она в Ленинград на всесоюзный семинар по игрушкам лишь потому, что две ее сотрудницы по конструкторскому бюро как раз ушли в декрет, а главный инженер отравился тортом.

Если бы не такое счастливое стечение обстоятельств, даже влияния могущественной Юлии Юрьевны не хватило бы для того, чтобы Катю взяли в Ленинград,

Юлия Юрьевна, московское начальство, приехала в Киев на республиканский семинар. На этом-то семинаре она впервые увидела Катиных кукол, бурно их похвалила – и особенного “маленького принца”, того самого, злополучного, который переполнил чашу терпения Натальи Тарасовны, Катиной прямой начальницы. Наталья Тарасовна (за глаза – Наталка) решила даже поспорить с почетной гостьей, но грозная Юлия Юрьевна ответила, что в Москве эта кукла прошла бы “на ура”. А строптивой скульпторше надо не мешать, а напротив, дать ей зеленую улицу.

В перерыве между заседаниями Анна Даниловна, курившая под той же пальмой, что и Юлия Юрьевна, сказала о скульпторше несколько очень теплых слов и, безнадежно посетовав на ограниченную Наталку, которая совершенно не в состоянии понять ни тонкости, ни своеобразия молодого автора, уверенно предрекла, что та рано или поздно выживет девочку из своей застойной конторы. Юлия Юрьевна прибавила к этому, что таких, как Наталка, в игрушке очень много, что есть и похуже, и что все эти послевоенные выдвиженцы без образования теперь перекрывают кислород талантливой молодежи...

Этим разговором все бы и кончилось, если бы мимо не прошла Дина Львовна со стопкой выписок из протокола. Деятельная Дина Львовна остановилась, прислушалась и немедленно призвала Юлию Юрьевну вмешаться, использовать свой авторитет, дабы переломить сложившуюся ситуацию. Она подтвердила, что Наталка давно уже ищет предлог, дабы избавиться от девочки, и что они могли бы объединиться и воспротивиться этому.

Дина Львовна была похожа на пионерку, предложившую новый, благородный почин. Анна Даниловна не проигнорировала ее, как обычно, а выразилась в том роде, что и так старается помочь Кате, но все впустую. И что похвалы Юлии Юрьевны могут оказаться не только бесполезными, но даже наоборот – вредными.

– Вот что! – сказала Юлия Юрьевна. – Ее нужно вывести на всесоюзную арену. Я не сомневаюсь, что она произведет на ленинградском семинаре фурор.

– А если бы еще мы поехали туда все втроем и поднажали, каждая со своей стороны, – подхватила Дина Львовна, – заручились бы поддержкой крупных специалистов, организовали бы прессу, то эта самодурка не решилась бы так спокойно выставить на улицу талантливого человека!

– А что – может и вправду поехать? – раздумчиво пробубнила Анна Даниловна. – Да и в Питере я сто лет не была...

– Это должна быть всесторонне продуманная акция! – вдохновлялась все больше Дина Львовна. – Сейчас главное – сделать так, чтобы девочку послали на семинар!

– Это я возьму на себя, – отвечала Юлия Юрьевна.

Здесь следует остановиться и изложить в хронологическом порядке сложные взаимоотношения скульпторши с каждой из старух.

Дина Львовна была давней знакомой Катиных родителей. В самых ранних воспоминаниях девочки она уже присутствовала и занимала в доме свое определенное место, хотя и не такое понятное, как портниха или участковый врач. Известно было, что Дина Львовна – “агитатор”. Маленькая Катя полагала, что “агитатор” – это такая тетенька, которая приходит поговорить сладким и мягким, как вата, голосом.

Появлялась она по вечерам. Ее пальто и шляпка с фетровым пропеллером сбоку были того же синего цвета, что и тьма за окнами. Склонная видеть во всем глубокий смысл, Катя решила, что это агитаторская униформа. Поэтому, завидев в городе какую-нибудь старушку в одежде этого распространенного в послевоенные годы цвета, она с удовлетворением включала и ее в славный отряд агитаторов.

В их обязанности, если судить по деятельности Дины Львовны, входило следующее: разносить по домам “вырезные картинки”, дарить по праздникам недорогие игрушки, а главное – любить детей.

– Я очень люблю детей! – вдохновенно декламировала она с какой-то профессиональной твердостью.

Да, был твердый стерженок в этом голосе кошачьего тембра, с глубокими паузами, похожими на ямочки в сдобе, с модуляциями вроде розочек и вензельков из сливочного крема. Этот голос был вместо пирожного к чаю, который она пила по очереди у жильцов коммунальной квартиры номер двенадцать. С жильцами этой квартиры она состояла в особо дружеских отношениях. Впрочем, “особые отношения” у нее были и со многими другими жильцами этого дома, так что дети ревновали и постоянно подсчитывали, кого она посещает чаще. Вечером, выходя на улицу, они спешили выяснить, не появлялась ли Дина Львовна и к кому именно она проследовала. “Дина Львовна, Дина Львовна...” – шелестело то сбоку, то сзади, и дети озирались, будто она могла материализоваться в своем пальтишке и в шапочке в любой момент из любого сгустка синей фетровой тьмы.

Таинственность подогревалась тем, что никому не удавалось заметить, когда именно она проникала в дом. Кажется, часов с пяти все тут крутились – и вдруг кто-нибудь начинает махать рукой, подзывая к лимонно-желтым окнам, упирающимся рамами прямо в асфальт.

Чистые окна, без занавесок. Свежепобеленные голые стены. Далеко внизу – выкрашенные в красный цвет доски пола. Празднично пустая комната, пустой белый стол. Во главе стола – Дина Львовна, читающая что-то вслух Вере, Наде, Любе и их матери. Мать сидит большая, белая, очень красивая, а девочки торчат на своих стульях, как бледные поганочки – одна другой хуже. Лица узкие, сляпанные без охоты и наспех, как кульки в бакалейном магазине.

Этих девочек особенно уродовали короткие кривые ноги. Но во дворе их не дразнили. Они так спокойно, так беззлобно сознавали свою некрасивость, что дразнить было неинтересно, бессмысленно. К тому же предпочтение, которое Дина Львовна так явно отдавала этой семье, придавало им некую привлекательность, особый статус, который они тщательно поддерживали.

Дети из самых разных семей сбивались у голых желтых окон, пытались проникнуть в тайный смысл происходящего там, за пустым столом. И Люба, младшая из сестер, самая некрасивая и самая добрая, заметив в окне беспокойные тени, время от времени поднимала строгие, бесстрастные глаза, но в конце концов не выдерживала, съезжала боком со стула и исчезала из своей странной комнаты, как с экрана – для того, чтобы вдруг появиться позади всех, в общей синей тьме. Великодушно жертвуя драгоценными минутами присутствия Дины Львовны, облегчала утомительный накал незнания: “Дина Львовна принесла нам братьев Гримм!” Буква “м” в ее длинной голове странно задерживалась и гудела. “Это самые интересные сказки в мире!” – говорила Люба, не

выпуская из рук зачитанную книгу с трухлявой, осыпающейся, как фреска, обложкой. От книги шел сытный и волнующий запах детской библиотеки...

Больше никому в доме Дина Львовна книг не носила, включая маленькую Катю, и Катю такое предпочтение обижало. Она полагала, что своим вниманием Дина Львовна могла бы решить и ее “дворовые” проблемы. Катя не надеялась, что ее перестанут дразнить “рыжей”, но хотя бы “зималетой” или “мамочкиной дочкой”... Вообще, она считала, что у нее проблем больше, чем у Любы и Любиных сестер.

Разумеется, маленькая Катя не понимала, что именно об этих девочках толкует с ее родителями Дина Львовна. “Я согласна: их отец сидит, он отбывает свой срок. Да, он получил эту квартиру во время войны – за то, что работал полицаем. Но скажите, – вопрошала напористым шепотом Дина Львовна, – в чем виноваты дети?! Почему троих детей хотят выбросить на улицу? Где-то же они должны жить? Да, комната большая, красивая, но, в конце концов, это глубокий подвал! Я такой несправедливости не допущу! Я дойду не только до горисполкома, я дойду до самого Мельникова!” – И после нескольких внушительных вздохов она продолжала еще тише. – Меня очень беспокоит, знают ли они о моей национальности... Не дай Бог, они что-нибудь такое... оскорбительное скажут при мне – и я больше не смогу им помогать. К сожалению, я по натуре чересчур обидчивая”. Далее следовал рассказ о деликатном воспитании, полученном в родительском доме, об отце и его фонарях.

С самого раннего возраста Катя знала о том, что стоящие в центре города огромные фонари с гранитными диванчиками построил лично отец Дины Львовны. Оказываясь там, Катя считала своим долгом посидеть на каждом из холодных скользких сидений. Сидела смирно, поджимая свои и без того крошечные губы. Она всегда испытывала удовлетворение, когда удавалось обнаружить очередную связь в утомительном беспорядке окружающего мира. Будто два кубика легли на место или сложились два кусочка разрезной картинки. В такие минуты Катя чувствовала, что взрослеет.

Картинка вырисовывалась следующая. У людей, которые строят фонари, рождаются дети-агитаторы. В обязанности агитаторов, как уже упоминалось, входит: пить чай, любить и защищать детей, делать им подарки, а в особых случаях приносить книжки. Свои сокровища агитаторы черпают из заповедных зданий, над дверьми которых белым по алому написано: “Агитпункт”.

Оказываясь возле такой вывески, Катя неизменно начинала просить взрослых туда пойти. Заходить туда никому, естественно, не хотелось. Никто не пытался понять, о каких таких куклах толкует девочка. И частенько дело кончалось ссорами и шлепками под осуждающими взглядами прохожих. А попробуйте не выйдите из себя, когда вас с воплями тащат за макинтош в агитпункт смотреть кукол! Однажды Катина мама предположила шепотом, уж не гипсовые ли бюсты вождей девочка имеет в виду...

На самом деле до истины докопаться было не так уж трудно. Взрослые могли бы вспомнить, что основная работа их агитатора действительно связана с игрушками. Что однажды Дина Львовна пригласила их к себе на работу, где была устроена большая выставка. И что над входом в здание висел матерчатый транспарант со словом “Агитпункт” в обрамлении пыльных лампочек. Но вот ведь – все это забыли.

А Катя помнила, как ее вели сначала по крутой мрачной улице, потом по огромной зале со стеклянными шкафами, где в несколько рядов стояли целые хоры разных кукол, от громадных до совсем крошечных. Помнила, как непохожая на себя Дина Львовна завела для нее зеленую сказочную карусель, и свинку в клоунском костюме со скрипачкой, и железного цыпленка, который ездил туда-сюда и клевал полированную полку... Но что прямо-таки врезалось ей в память – так это огромное деревянное яйцо, покрытое синим лаком. Этот размер, и форма, и глубокий, затягивающий цвет так поразили Катю, что кто-то (уж не Анна ли Даниловна!) раздвинул стеклянную стену и дал ей подержать яйцо в руках...

Господи, что это было за ощущение! Только руки скульптора могут так наслаждаться формой! К тому же обнаружилось, что яйцо раскрывается! Внезапно синяя гладь как бы лопнула, пошла по кругу поперечная светлая щель и показалось еще одно яйцо – ядовито-розовое, из розового – изумрудно-зеленое, и самое маленькое – желтое. И так это было замечательно, что, даже став взрослой, Катя пыталась отыскать похожее яйцо среди праздничного деревянного хлама на базарах...

Да... Так вот, могли бы взрослые завести Катю в агитпункт и показать, что нет там ни кукол, ни синих яиц. Нет даже вырезных картинок.

Эти самые картинки Катя ценила меньше всех подарков Дины Львовны. В доме, где не увлекались рукоделием и не держали клея, никто не объяснил девочке, что с ними надо делать, для чего разбросаны по листу руки, ноги, головы... Бедная Катя полагала, что это плакаты, изображающие ужасы войны.

Война окончилась лет за пять-шесть перед тем. Она была совсем еще свежей болью, свежим страхом. Еще жив был Сталин и нечего было за него агитировать, так что Дина Львовна могла спокойно пить чай, рассказывать о бедных цыплятах, о своей ранней глаукоме, о размолвке с сестрой, о необычайных математических способностях сына. И лишь уходя, с порога она обращалась ко всем соседям сразу: “Очень прошу вас проголосовать до семи утра! В прошлый раз мы заняли первое место! Надеюсь, вы и завтра меня не подведете!”

Дина Львовна считалась лучшим агитатором района, но это было все же не главное приложение ее сил.

Интересно, что уже в тот день, когда будущая скульпторша сидела на руках у отца – или матери, или самой Дины Львовны – и млела, осязая гигантское синее яйцо, все четыре участницы ночной попойки уже трудились на своем оригинальном поприще и были не только знакомы друг с другом, но даже отношения их уже вполне определились. И лишь Юлия Юрьевна приезжала в Киев не как московское начальство, а как рядовой методист, и не с проверками, а, напротив, перенимать опыт у Дины Львовны.

На тот момент Наталка уже организовала “КБ игрушки” и царила там со всем своим жизнерадостным самодурством. Дина Львовна уважала Наталкины фронтовые заслуги и была с ней так же педагогически галантна, как и со всеми, но втайне считала ее безграмотной грубиянкой. Наталка же всячески демонстрировала свое презрение к придурочной интеллигентности Дины Львовны, морщилась от звука ее мяукающего голоса, от благородной седины, от Шопена, которого та играла по праздникам.

Надо сказать, что Наталка не выносила Шопена в любом исполнении, как и серьезную музыку вообще, в чем сознавалась охотно, даже с наглым вызовом – правда, если поблизости не было Анны Даниловны, перед аристократизмом которой она все-таки робела. В присутствии Анны Даниловны Наталка делала вид, что смех и зевоту вызывает у нее не Шопен, а чинное исполнение Дины Львовны. Она даже искала взгляд Анны Даниловны, дабы показать ей всем своим видом: “Знаю, знаю, и тебе смешно, но ты терпишь ради приличия, а я вот не хочу притворяться, я – натура широкая, без выкрутасов!”

Шопен Дины Львовны был одним из обязательных атрибутов любого праздника, который устраивался в Методическом кабинете. Но куда большим успехом пользовались ее пирожные. Никто не умел так же пышно и крепко взбить белки. Она приносила свои безе в коробке из-под елочных украшений, на которые, кстати, они и были похожи – и причудливой формой своей, и нарядным блеском. Что же касается Шопена, то она ухитрялась придать любому вальсу, любой мазурке не свойственную им назидательность. Дина Львовна как бы приседала, увязала в каждой паузе, и при этом казалось, что она вот-вот поднимет пухлую ручку и мягко погрозит пальчиком.

В такие мгновения Анна Даниловна, столкнувшись взглядом с Наталкой, опускала голову и улыбалась. Улыбка эта была сложная, двусмысленная... Стоило лишь раз услышать Наталкин голос – победный и прямой, как гудок паровоза – чтобы понять, насколько она немзыкальна.

Разумеется, Анне Даниловне Наталкино хамство было так же безразлично, как и благородное воспитание Дины Львовны. И ценила она в Наталке лишь одно: та и пила, и курила с ней на равных.

Наталка этим даже несколько злоупотребляла. Посторонний человек, слыша, как она требует для себя и Анны Даниловны каких-нибудь дополнительных удобств (вроде – “Откройте форточку!”, “Что это у вас за наперстки вместо рюмок!”, “Не наливайте нам это пойло, мы – водочку!”) – мог бы подумать, что они в достаточно близких отношениях. Как же! Подруга Андрея Белого – и партийная выдвиженка, потребляющая исключительно дешевые детективы! Им и столкнуться было бы негде, если бы обе, как и Дина Львовна, не являлись членами Художественного совета. Причем – старейшими членами, так что каждая имела за столом свое постоянное место, и эта геометрия отчасти выражала действительное положение вещей.

Во главе стола в единственном числе сидел, разумеется, Председатель. Их за эти годы сменилось несколько. Левую половину стола – “молодежную” – как бы возглавляла Анна Даниловна. Наталка сидела напротив нее и держалась так, будто является лидером половины правой. На самом деле правая половина, состоявшая из людей пожилых, не имела лидера и в нем не нуждалась: здесь каждый мог одинаково успешно выступить с позиций реализма, оптимизма и идеологической выдержанности.

Человеку невнимательному могло показаться, что Наталка играет в Совете роль достаточно важную. Во всяком случае, места она занимала очень много. Впечатлял ее бюст, в пылу спора обрушенный на стол. Оглушал голос, который был слышен не только в коридоре, где ожидали своей очереди обмирающие от волнения авторы, но и на лестницах, и в соседних организациях.

Анну же Даниловну можно было принять за человека случайного. Отнюдь не миниатюрная, она сидела, как бы свесив свое тело вниз, так что над столом виднелись только плечи, голова и кисти рук – очень живые, с перстнем старинной работы и с незажженной папиросой наготове. Перед Анной Даниловной стояла пепельничка – на крайний случай. Привилегия неслыханная, глубоко задевавшая Наталку, такую же завзятую курильщицу. Ей, когда становилось невмоготу, приходилось встать и выйти из зала. При этом все вокруг обиженно грохотало и скрипело: стул, паркет, двери... Курила она жадно и поспешно, будто боялась, как бы в ее отсутствие не наломали дров.

Необъяснимое заблуждение! Что могла сказать Наталка? “Фу! Какая гадость!” Или: “Я категорически против!” Ни вытянуть, ни – что гораздо легче – завалить игрушку она не могла. Единственным человеком, который способен был отстоять и даже навязать другим свое мнение, была Анна Даниловна. Ее тихий, чуть скрипучий голос мгновенно привлекал всеобщее внимание. “Мне кажется... что уважаемые члены Совета... явно не вникли в замысел автора... Автор и не ставил себе цели создать куклу-красавицу... Это именно – дурнушка! Смешное и милое существо... И посмотрите-ка – совершенно живое!”

Уголки длинных губ Анны Даниловны подтягивались кверху, образуя умиленную скобочку с забавными мешочками и складочками по бокам. Глаза за толстыми стеклами очков, как слезами, наливались нежностью. И сразу начинали меняться, оттаивать лица присутствующих. При этом Наталка хваталась искать папиросу, а Дина Львовна спешила внести свою лепту: “Я опробовала эту игрушку в детском саду. Она очень нравится детям!”

Ее мнение никого не интересовало. К тому же известно было, что она всегда на стороне автора и готова защищать его даже в ущерб делу. Ценили Дину Львовну

исключительно за способность мгновенно найти любой образец, любой документ, поэтому и сидела она на самом конце стола, поближе к двери.

Таков был расклад. И Кате, оказавшейся в этом мире, скорее вредило то, что Дина Львовна всем представляла ее, как свою протеже – то ли родственницу, то ли ученицу. Должно быть, Дине Львовне приятно было думать, что именно ее вырезные картинки и синее яйцо разбудили фантазию ребенка.

Но это было не так. Таким уж этот ребенок уродился. Очертания человеческих лиц и фигур мерещились ему везде. Мир кишел образами – и фрагментами, жаждущими объединиться. Любая ветка бросалась ей навстречу с протянутыми руками: подбери, подбери мне подходящую голову! Расщепи меня так, чтобы я смогла ходить и танцевать! Дрожала от нетерпения перевернутая рюмка: скорее, скорее! Ведь тебе известно, чего мне не хватает, чтобы стать испанской принцессой! Безмолвно молило яйцо: дай мне глаза, чтобы смотреть, дай мне рот, чтобы улыбаться!

Первых своих кукол – конечно, очень примитивных и уродливых – Катя смастерила года в три. Но Дина Львовна их не видела. Не видела она и более поздних царьц и барышень в пышных платьях, которых Катя делала из фантиков, пуговиц и лоскутов. Не так уж часто она заходила к Катиным родителям, а игрушки, склеенные слюной и разрисованные химическим карандашом, были недолговечны.

К тому времени, когда Катя сделала первых “настоящих” кукол, ее семья жила уже в новом доме, в отдельной квартире, и связь с Диной Львовной никак не поддерживалась.

Эти две куклы... День их сотворения был едва ли не самым счастливым в жизни Кати! Ей тогда исполнилось лет одиннадцать, и была она вполне уже разочарована в куклах магазинных. Собственно, и совсем маленькой, когда она устроила свой знаменитый скандал в универмаге, выпрашивая у родителей богатого немецкого пупса, когда ревела и бросалась на мокрый пол, посыпанный опилками... она видела своими опухшими от слез глазами, что и этот нарядный младенец с локонами и соской во рту – не то, что ей нужно. Что как-то он не по руке и не к телу... холодный, не требующий ни ласки, ни жалости. Ненадолго переставая всхлипывать, она с недоумением спрашивала себя: “А что? Чего бы я хотела?” И в ответ мерещилось что-то странное, совсем некрасивое, серьезное и простодушное, в широком байковом платье.

Было это задолго до того, как будущая скульпторша попала в автомобильную аварию, достаточно безобидную, но имевшую по недосмотру врачей роковые последствия. Не вдаваясь в подробности, сообщим, что она хромала, и довольно заметно. Эта хромота давала повод Наталке высказывать разным людям свои глубокие соображения о том, что именно Катина болезнь является причиной ее пессимистического, нездорового взгляда на мир. “Кукла должна веселить, развлекать ребенка, а она лепит каких-то...”

Надо сказать, что все было наоборот. Как ни странно, но этот несчастный случай сделал характер Кати гораздо спокойнее и счастливее. Прекратились скандалы и истерики, которые кое-кто объяснял особой зловредностью, свойственной всем рыжим. Жизнь ее в целом стала как-то легче, хотя никаких видимых причин для этого не было. Ну разве что заядлые дворовые враги перестали ее дразнить “морковкой”. А слова вроде “хромуля” или “костяная нога” Катю задевали куда меньше.

А еще Кате разрешили пропускать занятия в школе. И она могла играть хоть с утра до вечера.

Дома к этому относились снисходительно. Все смирились с тем, что большой письменный стол в их однокомнатной квартире постоянно занят кукольными домами, целыми городами кукол. Это и была реальность, в которой существовала Катя. А собственно жизнь воспринималась ею как обуза, досадная помеха. Чего-то она

требовала, куда-то толкала, не спрашивая, хочешь ты этого или нет. А игра давала свободу, спокойное сознание, что все происходящее – в твоей власти.

Стоило бы описать тот солнечный день, когда Катя стояла у светлого подоконника и потрясенно созерцала творение рук своих. Две тоненькие головастые куколочки сидели на учебнике «Родной литературы», греясь на солнышке в ожидании, когда высохнет масляная краска на лицах и их можно будет нарядить, закутать, уложить спать, вынести на улицу, поводить по травке среди цветов. Вид у них был, несомненно, довольный. Мальчишка очень украшал чубчик из желтых шелковых ниток, а у девочки от самых височков свисали длинные тоненькие косы. Кате не верилось, что эти два существа созданы ее руками. Она даже заплакала от изумления. Наверное, так плакал Господь, созерцая Адама и Еву.

И хотя куклы ее с тех пор становились все лучше, подобной силы ощущения она не испытала больше ни разу. А уж в конструкторском бюро под началом Натальи Тарасовны...

Катя очень любила свою работу, но к моменту описываемой поездки смирилась с тем, что ее единоборство с начальницей подходит к концу. Наталка явно искала повод избавиться от Кати, а главная Катина защитница, Анна Даниловна, стала все чаще повторять, что ей “надоела эта канитель”. Катя знала, что, как только Анна Даниловна уйдет из Совета, никакая передовая молодежь не сумеет ее, Катю, отстоять.

Возможно, поездка в Ленинград, которую Дина Львовна гордо называла “АКЦИЯ”, действительно могла что-то изменить. Катя надеялась на это, но очень робко. А вот чего она действительно ждала от путешествия – так это сближения с Анной Даниловной. Причем обыкновенного, человеческого, никак не связанного с работой. Ибо хотя Анна Даниловна за двадцать шагов открывала ей объятия и целовала в щеки, домой к себе она Катю так и не пригласила.

Попасть к Анне Даниловне... Привилегия для немногих. Признание таланта, необычной судьбы, незаурядного характера.

Ее пятидесятиметровую комнату, разделенную антикварной мебелью на закутки, Катя знала так, будто много раз там бывала – по рассказам Кирилла, своего друга, начинающего писателя, который жил в одном из этих самых закутков, между инкрустированным буфетом восемнадцатого века и резным немецким шкафом девятнадцатого. В прочих закутках стояли раскладушки других непризнанных гениев, порвавших со своими мещанскими семьями, с провинциальной рутинной. Они искали способ заявить о себе. Перебраться в столицу. Избежать шизофрении. Их сваленные на пол книги, или эскизы, или ноты, их ненакрытые постели, свидетельствующие о ночных творческих муках, их пустые бутылки, иконы, костыли – никого не смущали. Кирилл хвастал, что мирятся с этим даже соседи по огромной коммуналке старинного дома. Мирятся с невыключенным светом в туалете, с брызгами вокруг раковины и даже с оставленной на всю ночь гореть газовой конфоркой. Терпят и в меру сил предупредительны – ибо все знают, что тот патлатый юноша, концерты которого Анна Даниловна устраивала в своей комнате и который до полуночи колотил по клавишам старого рояля, отчего у соседней сыпалась с потолка куски лепнины – занял второе место на конкурсе музыкантов-исполнителей в Англии и первое в Бельгии. А тот, мрачный, с вечной мигренью, совершенно невыносимый в общении, опубликовал в “Новом мире” роман, где во всех подробностях изобразил квартиру Анны Даниловны, ее соседней и свои собственные промахи – вроде ключей, оставленных на ночь в замочной скважине входной двери или взятого по ошибке чужого шарфика, вдобавок утерянного в тот же день.

Ко всему тому соседи полагали, что в случае какой-нибудь надобности Анна Даниловна поможет и им.

У Анны Даниловны действительно были большие связи, но пользовалась она ими очень неохотно и выборочно. Кирилл, например, много раз говорил Анне Даниловне о том, что у него есть знакомая молодая художница. По его мнению, очень талантливая, но непрактичная. Что она делает забавные игрушки, и хорошо было бы Анне Даниловне на них взглянуть. Что девочка недавно провалила экзамен на скульптурный факультет и теперь растеряна, подавлена, не знает, куда ей пристроиться...

Анна Даниловна эти намеки игнорировала. Возможно, потому, что была на стороне некой романтической Жеки, влюбленной в ее подопечного, и враждебно относилась к каждой из его очередных “любовей”. Бранилась своим сорванным баском: “Смотри, не пожалел бы! Может быть, Жека – это твой “гранатовый браслет!”

А про какую-то девочку... рыжую, да еще и хромую, вообще не хотела слышать – и не слышала.

Тем не менее однажды она вспомнила о неудачливой подружке Кирилла и сказала, что та может подать свои работы на конкурс, который объявил Кабинет игр и игрушек...

Таким образом, можно считать, что “в игрушку” Катя попала с подачи Анны Даниловны.

Интересно, что с тремя из четырех старух Катя встретилась в первый же день – в тот день, когда решила собрать в сумку своих кукол и отправиться по записанному на бумажке адресу.

С Анной Даниловной она поравнялась еще на середине крутого подъема, усталого огромными золотыми сердцами тополиных листьев. День был ясный, пахнувший осенней неизлечимой сыростью и грибами. Улица была пуста, и необычная старуха сразу бросалась в глаза. Она шла в гору, тяжело переваливаясь и наклонившись вперед, как ходят конькобежцы. Руки у нее были скрещены за спиной. В одной, угрожая поджечь серый плащ, дымилась папироса, на мизинце другой беспечно болталась сумка, будто забытая на гвоздике. По-мужски остриженные волосы были выкрашены в черный цвет и оттянуты со лба круглой гребенкой, так что сзади они забавно топорщились.

Катя прибавила шагу и как бы случайно бегло оглянулась. Она успела увидеть темные щелки глаз за толстыми стеклами, длинный хрящеватый нос, придавленный на конце. Тонкий рот провисал скакалочкой почти до смешливо поджатого подбородка. И хотя никто не описывал Кате, как выглядит Анна Даниловна, она сразу догадалась, кто это такая.

Катя немного постояла у дома, убедилась, что старуха вошла в нужную ей дверь, и направилась за ней следом. Одна мелкая подробность рассмешила ее: над входом в это огромное неуклюжее здание висел красный транспарант с линялым словом “АГИТПУНКТ”. Она вспомнила свое детское заблуждение...

Поднимаясь по лестнице, отыскивая в путанице коридоров нужную ей вывеску, Катя продолжала улыбаться. Вывеска оказалась рядом с большой прозрачной дверью, за которой виднелся просторный коридор, уставленный стеклянными шкафами. Катя подумала, что, может быть, именно здесь и увидела она когда-то синее яйцо. Оставалось только обнаружить старушку с белопенной сединой, в пальто и фетровой шляпке цвета зимнего вечера.

Такая и появилась на ее звонок – правда, в сером сарафане и белой блузе с кружевом. Она двигалась по коридору величественной и неускоримой походкой, и по мере ее приближения отпадали сомнения в том, что это действительно незабвенная Дина Львовна, которая, вместо того, чтобы с годами уменьшиться и постареть, таинственным образом помолодела и увеличилась не только вширь, но и ввысь, пропорционально. Она как бы несла перед собой свое тело. С большим радушием. Сдобное лицо ее, с

добродетельным зобом, не имело никакой тенденции к обвисанию. Склонив голову и вопросительно шурясь, она изучала Катю, как из светлой дали, поверх равнины своего бюста. Движение при этом не ускорялось. Она спокойно стрельнула замком, впустила Катю в теплый ковровый коридор, с профессиональным радушием указала на вешалку, где уже висел серый плащ Анны Даниловны – и лишь после этого задала вопрос.

– Девушка! Я сгораю от нетерпения. Откуда мне знакомо ваше лицо? Скажите, вы, случайно, не Катя?

Даже восхищение Дины Львовны было медлительно и монументально.

Минут двадцать, стоя на неудобном месте, на самом проходе, Катя обменивалась с Диной Львовной ностальгическими репликами, известиями о свадьбах, кончинах и карьерах. Народ прибывал, засновали от двери к двери сотрудники. По их поведению и мелким репликам Катя поняла, что на основной своей работе Дина Львовна отнюдь не так популярна, как была когда-то – в коммунальных дебрях, где выросла Катя. Впрочем, Дина Львовна ничего этого не замечала. Она лишь объяснила, глядя вслед женщине, которая не извинилась, задев ее большой картонной коробкой:

– Ты немножко неудачно попала. У нас сегодня большой "совет", и я не смогу уделить тебе достаточно внимания. Хотя, с другой стороны... Может, это даже и лучше. Будет много полезных людей.

И она тут же потащила Катю по кабинетам и стала со всеми знакомить...

В отличие от Анны Даниловны, которую не преследовал зуд делать добро всем подряд, Дина Львовна считала это своим святым долгом. Сама она ничего особенного совершить не могла, но, оказавшись в обществе любых двух людей, она тут же призывала их помочь друг другу.

Катя совершенно растерялась, когда в одном из кабинетов Дина Львовна пристала к какому-то молодому человеку, предлагая ему немедленно внедрить на своей фабрике одну из Катиных игрушек. А когда тот, покрутив игрушки в руках, смущенно забормотал, что на их фабрике нет подходящей технологии, Дина Львовна вовсе не огорчилась и тут же стала узнавать у Кати, не может ли ее мама достать лекарство для его больной дочки.

И Кате, и молодому человеку стало неловко, хотя никакой корыстью от предложения Дины Львовны не веяло. Катина мама не имела никакого отношения к лекарствам. Что же касается игрушек, то в течение получаса Катя поняла, что они действительно совсем не подходят для массового выпуска и что подавать их на конкурс не имеет никакого смысла.

А между тем опытная Дина Львовна будто и не догадывалась об этом. Жестом не то соавтора, не то вдохновителя она доставала из коробки Катиных кукол, вопрошая с игривыми модуляциями: “Ну, как вам эта прелесть?”

И чувствовалось, что каждый с трудом подавляет в себе острое желание ее разочаровать.

Тут не требовалось даже кривить душой. Катини куклы не только не годились для промышленности – они даже не были игрушками в обычном смысле этого слова. Но, демонстративно минуя Дину Львовну, Кате говорили, что работы ее очень талантливы, что они годятся для выставки, а старуха с зонтиком и купчиха – может быть, даже и для музея. И что Кате обязательно надо попробовать себя в реальной детской игрушке.

Для начала ей предложили задержаться и поприсутствовать на Художественном совете. Катя с благодарностью согласилась.

В коридоре становилось все теснее. Катя с любопытством изучала окружающую экзотику. В закутке, где она обосновалась, трое взмыленных провинциалок распаковывали коробки с пластмассовыми куклами, суетливо расправляли на них прически и платица. Пожилая дама расчесывала металлической щеткой шерстку розового медведя. Какой-то мужичок жаловался другому: “Они нам поставляют “маму” неплохую, “уа” – тоже ничего, а “гав” – совсем на “гав” не похоже!”

Прошла мимо Анна Даниловна, угрюмо согнутая – как бы для того, чтобы предупредить попытки окружающих нарушить ее уединение. Кате хотелось разглядеть ее получше, но обзор ей заслонила огромная дамская спина с круглой, жирной холкой и тяжеленными розовыми локтями по бокам.

Зрелище впечатляло... Негустые, крашенные в розовато-рыжий цвет волосы были заколоты тремя мудреными кренделями по моде времен войны. Казалось, что большая голова лежит на туловище, как на тумбе, неприкрепленная. Причем, когда гигантская старуха развернулась к Кате своим ошеломляющим фасадом, выяснилось, что голова лежит не просто на тумбе, а еще и на овальном блюде. Такое впечатление создавал окаймленный круглым белым воротником неумеренный вырез на ее синем платье.

– Наталья Тарасовна! – игривым альтом позвала Дина Львовна. – Подойдите сюда! Знакомьтесь! Это моя воспитанница! Я хочу, чтобы она работала в вашем конструкторском бюро!

Наталья Тарасовна секунду поколебалась и двинулась к ним, наставив на Катю, как лорнет, две круглые частодышащие ноздри. Катя даже задрожала: так ей захотелось немедленно начать куклу “Наталья Тарасовна”...

Ах, как это можно было бы замечательно сделать! Нагло вздернутый зрячий нос! Глаза, существующие как бы исключительно для интриг! Они шарили, переглядывались, перемигивались, причем каждый гнул свою линию: левый, прозрачно-серый норовил ускользнуть к потолку, а правый, желтоватый, лукаво косил на нос, как на начальство. Вздорное выражение глаз усиливали, со своей стороны, две дуги, проведенные много выше невидимых бровей. Скулы, щеки и все прочие формы были расточительно мясисты и этим размахом по-своему привлекательны, несмотря на дряблую кожу, утыканную дырками.

Катя тут же прикинула, что такие дырки она сможет прокрутить остро отточенным карандашом. Она чуть ли не потирала руки, предвкушая, как наведет морковной краской губы в виде печатной буквы “М”, вставит в угол рта длинную папиросу, а нескромный вырез промажет клеем и посыплет настоящим пеплом...

Итак, в тот, первый день они стояли, вытянувшись по одной линии, как парад планет: Катя за спиной Дины Львовны, Наталья Тарасовна – к Дине Львовне лицом, и чуть дальше, боком к ним, Анна Даниловна.

– Это моя личная просьба! – говорила Дина Львовна с таким внушительным достоинством, будто ее личная просьба имела в глазах Натальи Тарасовны какой-нибудь вес.

– Ладно. Пусть приходит! – небрежно прогудела со своего блюда голова Натальи Тарасовны.

И снова стала видна вдумчиво курящая Анна Даниловна.

Молодые быстрые шаги послышались в коридоре, и Катя увидела, как Анна Даниловна внезапно подалась назад, радостно распрямилась. Два ласковых глаза будто ожили внезапно на ее расцветшем лице, а губы сложились в улыбку того счастливого удивления, с каким встречают появление милого ребенка. Но то оказался не ребенок, а женщина лет тридцати с ровными, как стрелы, черными бровями и очаровательной челкой, длинные прядки которой не скрывали светлого лба. Гул оживления прошел по коридору – тот гул, который всегда сопутствует баловню судьбы, сверх меры одаренному обаянием и талантом.

То была... Катя в каких-то несколько секунд полюбила эту челку, и странную пластику фигуры, и взгляд – то веселый, быстрый, то серьезно и вопросительно прямой. И даже клетчатый мохнатый шарф.

С этой встречи началась еще одна история – но совсем другая, не имеющая отношения к “акции”, к прокуренному купе, к непроглядно-синей ночи, спешащей

навстречу поезду, к огням шоссе, которые возникают внезапно и так же внезапно уходят рывками назад.

До этого путешествия оставалось еще три года, и в тот момент никак нельзя было предвидеть ни того, что скоро клетчатый этот шарф окажется на Катиных плечах, ни того, что Анна Даниловна станет встречать и ее такой же улыбкой, а Наталья Тарасовна нависнет над нею, как жизнерадостный тяжелый кошмар.

То, что Дина Львовна сильно преувеличивала свою роль в трудоустройстве Кати, объяснять уже, кажется, не нужно. Наталке вообще не требовались рекомендации. На Катини работы она едва взглянула. Как выяснилось впоследствии, решающую роль в приеме на работу сыграли внешние данные претендента.

У игрушечников существовал такой предрассудок: кукла всегда похожа на автора. У красивых людей получают, соответственно, красивые куклы. И – наоборот. Исходя из этого Наталка очень заинтересовалась Катей, хотя вида, разумеется, не подала. Собственно, она ничем не рисковала. Желавшему устроиться к ней в КБ выделяли стол, стул, кусок пластилина и позволяли месяца два ходить на работу, присматриваться, пробовать себя, осваивать технологию. Понятно, без всякой зарплаты. В скульптурном отделе постоянно вертелись одна-две такие девочки. От случая к случаю появлялся и какой-нибудь маститый скульптор, но с этими дело ладилось редко. Кукол лучше чувствовала именно зеленая бездипломная молодежь. Наталка любила ее за энтузиазм и рвение в работе.

Те, у которых “не пошло”, исчезали сами – или Наталка выставляла их без излишней деликатности. Если же кукла удавалась и проходила через Художественный совет, автора зачисляли в штат. При этом он был счастлив, благодарен Наталье Тарасовне за чахлые полставочки и никогда не вспоминал о том, что первую свою куклу, можно сказать, подарил конструкторскому бюро.

Со стороны все это выглядело так, будто Наталка активно выдвигает молодежь и вообще создала прекрасный коллектив.

– Сама она – человек необразованный и большая грубиянка, – предупредила Катю Дина Львовна. – Но работать ты будешь среди очень приятных людей!

Люди были самые разные. Основу коллектива составляла небольшая группка, оставшаяся от артели, которую сразу после войны организовала старушка-умелица – Софья Петровна. Наталка – партийная фронтовичка с тремя рядами орденских колодок и неизываемой папиросой в углу рта – умелицу быстро вытеснила. Но как-то... не обидно. Пышно проводила ее на пенсию. Шумно поощряла походы сотрудников к бывшей начальнице. Любила, особенно при посторонних, сказать что-нибудь вроде: “Надо бы заехать, завезти нашей Софье Петровне мешок картошки на зиму...”

Такая широта души поначалу очень умиляла Катю. Но вместе с тем что-то ей мерещилось все время... Чем-то напоминала ей Наталья Тарасовна моллюска, захватившего чужую раковину, которая не подходит ему по форме, не подходит по размеру...

КБ игрушки размещалось в помещении не то бывшего магазинчика, не то швейного ателье. Огромные окна его пятью древними акациями были отгорожены от суетливой площади с двумя трамвайными развязками. Грохот трамваев, шарканье и гомон толпы, конечно же, проникали в мастерские, но почему-то казались очень далекими и не только не нарушали сонного покоя, царящего в сумрачных комнатах, но как бы и подчеркивали его. То ли ветви акаций, нависающие над верхней частью окон, создавали эту особую атмосферу, то ли висящая в солнечном воздухе гипсовая пыль. Кате казалось, что это застоявшийся с давних времен дух неторопливого кустарного труда – возможно, даже дух самой Софьи Петровны, незримо опекающей свое детище.

Катя слышала ностальгические рассказы о том, как приятно работалось когда-то в артели. Кукол тогда лепили мало, все больше шили из тряпок, набивали ватой, утюжили. Меньше было грязи, но больше беспорядка и уюта.

Эта светлая, сосредоточенная скука приятно совпадала с ритмом Катиной работы. Ей было хорошо – почти как в детстве, когда она болела длинными детскими болезнями и лежала на своем широком диване, что-то мастерила, скручивала из тряпок, уверенная в том, что никто ее не потревожит, не станет ругать за мусор и обрезки.

Ведущим скульпторам позволялось работать в собственных мастерских, так что столы их по большей части пустовали. В комнате постоянно сидели только три молоденькие скульпторши и два формовщика. Формовщики, как везде и всегда, полагали, что труд их недостаточно ценится, и потому наводили туман, изображая какие-то неведомые сложности: неделю возились с отливкой, на которую хватило бы и полдня, шурились на нее, к чему-то примеривались, снова клали на стол...

Подозревали, что один из них умеет спать с открытыми глазами. Каждый день, часов в двенадцать, он углублялся в свой стеновой шкаф, неизменно создавая видимость, что ищет там нечто необходимое для работы, и возвращался оттуда розовый и освеженный, как после бани. С каким-нибудь шпателем в руке. После чего садился, упершись в спинку стула и скрестив на груди руки. Прозрачные глаза его с философским безразличием упирались в суету площади. На вопросы он не отвечал. А то вдруг, не меняя выражения лица, начинал рассказывать что-то о своих родителях. Замолкал он – начинал кто-нибудь другой. И никто не заботился о том, слушают ли его.

Было что-то в этой комнате, от чего любой человек, даже посторонний, едва переступив ее порог, тут же ударялся в воспоминания. Кто бы это ни был: язвистая разбитная портниха, мрачная, задавленная жизнью кладовщица... они входили в комнату в своем обычном настроении, но, сделав несколько шагов, как бы терялись, слабели. Менялись голоса, смягчались скандальные нотки. Уже с середины комнаты они начинали отуманенно смотреть в окно – и вдруг, неторопливо и спокойно, принимались выкладывать что-нибудь о своем детстве, о любви, о неудачном браке такое, чего не расскажешь и родной сестре.

Кате порой мерещилось, что чужие воспоминания висят в этом неподвижном воздухе, плавают, не задевая друг друга...

Чужа эту особенность комнаты, главный инженер, которого Наталка не так давно завела в организации, никогда не проходил внутрь. Это был отставничок, крепенький и бодрый, как хорошо накачанный мячик, с благородным серебристым руном на красивой бараньей голове и с ямочками на смуглых щеках. По утрам, часов в одиннадцать, он заглядывал сначала в швейную, а потом в скульптурную мастерскую и тоном глубокой ответственности сообщал: “Только что мне звонила из главка Наталья Тарасовна! Она будет через час!” – и смотрел поверх съехавших очков, стремясь передать взглядом всю судьбоносность момента. Наталья Тарасовна, дескать, сейчас страдает за нас. Там, в высших сферах. Но и мы не подведем ее. Будем хорошо трудиться.

По-видимому, только в этом и заключались его обязанности.

Что же касается Наталки, то всем было известно, что звонит она из постели, поскольку по ночам читает детективы и курит, а утром не может подняться.

Известны были и многие другие подробности ее неуклюжего быта. Кате их однажды сквозь слезы выболтала модельерша Нина Ивановна, черная, востроносая старая дева, которая два раза в году приходила к директрисе мыть три огромных окна на пятом этаже, а та, неблагодарная, найдя приличного жениха-вдовца, сосватала его другой модельерше, разводной ядовитой Клавке. Этим поступком Наталки был возмущен весь коллектив, убежденный в том, что именно Клавка разрушила благодать, царившую в КБ при незабвенной Софье Петровне, что именно от нее, от Клавки, исходят все сплетни и что это она посылает анонимки в главк.

Клавка была из тех неприятных людей, которые считают главной своей добродетелью честность. Всегда и всем она с героическим самодовольством говорила в глаза правду.

Такая добродетель – и вообще-то сомнительная – в коллективе, созданном Наталкой, была совсем уж неуместна.

Дело в том, что Наталья Тарасовна для своего дружного коллектива сознательно подбирала людей с брачком. У этой диплом не по специальности, эта вовсе без диплома, у этой муж сидит за хищения в особо крупных размерах, у этой ребенок бог весть от кого... Один из формовщиков был из дворян и алкоголик, второй побывал в плену. Короче, каждый был ей чем-то лично обязан и не считал зазорным вымыть окна, натереть полы или отнести на праздник кастрюлю голубцов пожилой женщине с катарактой, гипертонией и удаленной почкой – в сущности, незлой и совершенно одинокой.

Апофеозом этого безобидного подхалимажа были праздники. В отделе мягкой игрушки накрывали огромный раскроечный стол. Блюда, вполне традиционные, оформляли так замысловато, что порой их жалко было есть. На горках салата “оливье” нежились очень натуральные поросята, сделанные из крутых яиц. Из огурцов выкладывали крокодилов. Особо художественными получались изделия из паштетов, обычно изображающие черепах.

Народ был талантливый, с выдумкой. Забавлялся... Но выглядело это так, будто все стараются для Натальи Тарасовны лично. Во всяком случае, сама она в этом несколько не сомневалась.

Наталка сидела во главе стола, с ровным удовольствием человека, который все это внимание заслужил. Спешить ей было некуда, и каждый из ее бракованных подчиненных держался так, будто и ему некуда идти, некуда спешить, будто и для него ничего не значит какая-то там бракованная семья... Со вкусом ели, подолгу пели романсы, народные песни, арии. Тон задавали два профессиональных тенора: формовщик, побывавший в плену, и заведующий отделом мягкой игрушки – известный скульптор-монументалист, который из сентимента не бросал места, где его приютили когда-то. Нищего бездомного студента. Наличие такого подчиненного Наталке очень льстило, и он один мог позволить себе покинуть торжество в любое время, не дождавшись чая и знаменитой лотереи.

Деньги на лотерею, рублей сто двадцать – сто пятьдесят, выделяла дирекция. Почти на всю эту сумму покупался главный приз: какая-нибудь хрустальная ваза, столовое серебро, приличный сервиз. На оставшуюся мелочь набирали всякую дребедень. Главные подлипали обходили стол с драной ушанкой, из которой сотрудники по очереди вынимали свернутые билетки, тут же получая свои открытки, спички и шариковые ручки. Разумеется, ажиотаж и даже азарт вызывали не они, а нечто таинственно прикрытое, стоящее на специальном возвышении. Это возбуждение доходило до кульминации, когда шапка оказывалась перед директрисой, которая, не глядя, опускала в нее небрежную тяжелую руку и протягивала свернутую бумажку главной подлизе. Та с деланным нетерпением раскручивала бумажку, широко раскрывала глаза и принималась изумленно визжать: “Наталья Тарасовна выиграла вазу-у!”

Покрывало торжественно сдергивали. Всем было интересно, что же там окажется на сей раз и понравится ли оно Наталке. Недоучки, калеки, евреи и сироты Натальи Тарасовны хлопали в ладоши над порушенными крокодилами и перепачканными поросятами, из-под которых выели салат. Наталка ленилась выразить изумление, но радость ее была искренней. Особенное удовольствие она получала, когда на этом спектакле оказывался зритель со стороны: какой-нибудь командировочный, застрявший на праздники, или крупный художник – из тех, кого она безуспешно пыталась привлечь в свою организацию.

Катя хлопала вместе со всеми и, глядя на Наталку, неизменно вспоминала строки: “За столом сидит она царицей, служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вины...”

В ее отношении к Наталке была какая-то непонятная путаница. Несомненно, она радовалась, услышав в коридоре характерный победный грохот каблуков. Катя ловила себя на том, что ждет, когда этот грохот, приблизившись к двери скульптурного отдела, на мгновение смолкнет, а затем, став еще решительнее, изменит свое направление. Тугая дверь рванется, и бодрый хрип шуганет дремлющие в пыльном воздухе воспоминания. “Ну-ка, что у вас тут происходит?!”

Она властно топала от стола к столу, роняя, как пепел, свои короткие замечания. Кажется, она была единственным человеком, на которого совершенно не оказывала размягчающего воздействия скульптурная мастерская. Даже напротив: добравшись до окна, у которого сидела Катя, она становилась еще тверже и жестче, чем обычно. Останавливалась у нее за спиной, тяжело и ритмично сопя. Такое сопение могло разрешиться не только нагоняем, но и суровой похвалой: “Красивая получается кукла. Только улыбни ее! Улыбни! Чего она такая кислая? У тебя что, цель – всем испортить настроение?”

Надо сказать, что Наталья Тарасовна, принимая Катю на работу, просчиталась и не раз упрекала ни в чем не повинную Дину Львовну. Катя оказалось неблагодарной.

На первый взгляд она идеально вписывалась в Наталкин приют для ущербных. Катя хромала, а это давало возможность дружному коллективу проявлять свою чуткость. Наталья Тарасовна так и сказала Кате при первой встрече: “С нами не пропадешь! У нас уже есть один мальчик-инвалид. Горбатенький. Мы ему коляску выбили, инвалидную машину... И любим его. Потому, что он – оптимист”.

В пользу Кати было и то, что она завалила экзамены на скульптурный факультет, а, значит, не должна была много о себе мнить. Наталка не стала говорить Кате, что, дескать, все у нее впереди, что валят на экзаменах и самых талантливых... Она утешила Катю в свойственной ей манере: “Ничего, у нас коллектив квалифицированный! Натаскаем не хуже любого института! Я взяла троих без диплома, и они прекрасно теперь работают. В нашем деле быть слишком грамотным тоже вредно. Вот возьми Иванова: хороший скульптор, ничего не скажешь. Но если за ним не присматривать, он тебе вместо пищалок резиновых памятников понаделает!”

О третьем Катином дефекте она упомянула в завуалированной форме, уверенная, что та ее поймет: “Коллектив у нас интернациональный и все нации – равны!”

Так вот, Катя оказалась неблагодарной и при всех своих трех дефектах не только не бегала мыть директрисе окна – этого никто от нее и не ждал, – но она еще и перечила дерзко при всех. А, главное, куклы у нее были сплошь дурнушки.

– Ты красивая – и куклы у тебя должны быть красивые! – грохотала прокуренным басом Наталка и била толстой рукой по столу. – Вот ты в зеркало на себя посмотри! Разве у тебя такие уши? Пока не уменьшишь эти лопухи – я разрешения на формовку не дам!

Прохожие задерживались у окон, заинтересованные доносящимся оттуда бредом.

– Сказано: ноги должны быть прямо с туфлями! Значит – исполняй!

Голос гремел, будто били по цинковому тазу.

Второй голос, тоненький, звенел, будто стучали ложечкой по блюдцу – но тоже с напором, неуступчиво.

– Как же ее купать в туфлях?! Как же ее в туфлях спать укладывать?

Или такое:

– Посмотри! Посмотри! Она же у тебя жалкая! Она же у тебя обиженная! А наша цель – воспитывать здоровых, жизнерадостных людей!

– А хоть бы и жалкая! Ребенку полезно жалеть! Между прочим, я считаю, что какая-нибудь жизнерадостная красotka может подавлять детскую психику!

От таких разговоров Наталке становилось почти дурно. Она называла их бранным словом ”философия” и всячески пресекала. Главный инженер из своего угла делал Кате увещевающие знаки: дескать, что же ты нас подводишь, нас, к которым Наталья Тарасовна так хорошо относится!

Со всем тем Наталка не увольняла Катю, хотя давно уже без всяких угрызений совести рассталась с оптимистом-горбуном и двумя бездипломниками. Она сама не могла понять, что же ее останавливает. Во всяком случае, не то, что Катиных уродцев регулярно утверждали в Художественном совете – и даже с успехом. Здесь ей все было ясно: Анна Даниловна, взявшая девчонку под свое крылышко, оказывает давление на Совет. Причем несколько не таясь. Сначала идет, на полкоридора раскрыв Кате объятья – а потом на заседании, как ни в чем не бывало, доказывает, что Катини куклы ”очаровательны”, что они ”живые и вступают с вами в общение!”

Но и это еще не все! Мало было Анне Даниловне персональной пепельницы – она завела вдобавок моду сажать свою любимицу за стол Совета, на пустующее место Фроловой, ушедшей в декрет! И во время заседаний непрерывно шепталась с нею. А сверх того – принуждала иногда высказывать свое мнение во всеуслышанье.

Первая крупная ссора произошла как раз на Совете. Из-за чужой тряпичной куклы. Наталка не только находила ее несуразной – она вообще не понимала, зачем возвращаться к тряпичным куклам, от которых, слава Богу, давно избавились. ”Может, еще вернуться к фарфоровым головам?!” – язвила Наталка, ощущая поддержку Совета.

И тут Анна Даниловна дала слово Кате. И стеснительная от природы Катя сначала отнекивалась и заикалась, а затем выдала целую речь. Дескать, современные пластмассовые куклы наносят детям страшный вред: их можно пачкать, ронять, бросать как попало, и поэтому дети не приучаются быть осторожными, не боятся непоправимых последствий. Что это одна из причин ужесточения нравов, о котором говорят педагоги. Что пластмассовые куклы – холодные, их неуютно держать на руках, отчего в детях не стимулируется родительский инстинкт.

И все это – дрожащим голосом...

Тут все начали переглядываться, по очереди прижимать к себе эту самую куклу и приводить примеры из собственного детства... Энергичная молодежь Анны Даниловны поднажала, и кукла прошла.

В перерыве Дина Львовна слышала, как Наталка просила у секретарши валидол и несколько раз повторила: ”Я подобрала ее на улице, а она мне в душу наплевала!”

По правде говоря, и Дину Львовну порой смущали высказывания ее ”воспитанницы”. Однажды она показала Кате замечательно красивую куклу, занявшую первое место на конкурсе. Катя долго мялась, а потом понесла какую-то муть. У хорошей, мол, куклы есть душа, а у этой нет души. А потом вдруг развеселилась и брякнула, не понижая голоса, что такая куколка далеко пойдет по партийной линии и что вот она уже и ручку протянула для рукопожатия... Дина Львовна страшно испугалась, даже в коридор выглянула проверить, нет ли посторонних. Как раз в то время племянник, которого она в свои ”агитаторские” годы называла сыном (кстати, он действительно стал известным математиком), подписался под каким-то протестом и остался без работы. Опасливо стреляя глазами, Дина Львовна просипела в ухо Кати, что если та скажет что-нибудь подобное при своей начальнице, то не только потеряет работу, но и дождется неприятностей вроде обыска. А также бросит тень на людей,

которые всячески поддерживают ее: Анну Даниловну и прочих. “Ты не представляешь себе, на что способны подобные люди!”

Катя полагала, что Дина Львовна несколько преувеличивает масштабы Наталкиной подлости. То есть мелкие подлости, конечно, были. Взять хотя бы то, что Наталка умышленно пристраивала Катиных кукол на самые захудалые фабрики, где их уродовали до неузнаваемости.

Когда Катя увидела свою первую куклу, исполненную в мыльном полиэтилене, с толстыми черными бровями и красными ноздрями, она расплакалась при всем Совете. И все же Катя считала, что это делается не назло, а из искреннего неприятия ее работ. Она даже жалела Наталку, понимая, как раздражает ее. Старалась поменьше с ней спорить, даже слушалась, где возможно. Уменьшала уши, укорачивала ноги, прибавляла “оптимизма”...

Иногда она думала, что родители правы. Что глупо столько работать и столько нервничать ради такой крошечной зарплаты. Но дело-то было вовсе не в зарплате! И даже не в людях, с которыми Кате было так хорошо. А в самом ритме этой жизни. Ехать утром на трамвае. Нетерпеливо считать остановки. Переходить площадь, издали поглядывая в окошко: кто там сегодня есть? Входить в комнату, в этот густой запах – старого дома, свежего пластилина, гипса, лака. Кое-как пристроив на вешалке пальто, бежать к своему столу, где ждет тебя, смотрит прямо в лицо маленькое существо, которому не терпится стать красивым, гладким, прочным, а главное – проявить свою душу, свой норов... Господи, а увидеть свою куклу на прилавке в магазине! На улице, в руках у чужого ребенка! Да Катя готова была работать и вовсе бесплатно!

Собственно, к этому она и пришла: начала параллельно двух кукол. Одна, законная, лежала открыто на столе, вторая ютилась в выдвижном ящике. Ее Катя лепила, пока Наталка “задерживалась в главке” или “выезжала в министерство”.

Работа шла легко и быстро. Катя сама перевела куколку в гипс. Это немного задело самолюбие формовщиков, но ябедничать на нее, разумеется, никто не пошел – тем более что Катина затея никак не мешала им задумчиво смотреть в окно или дремать с открытыми глазами. Модельерша Фира, вообще-то большая трусиха, сшила тайком одежду. Уж очень он ей понравился – Катин “Маленький принц”.

Впервые Катя показала его на республиканском семинаре. Она надеялась, что при большом стечении посторонних Наталка не станет устраивать скандал. Не захочет показать, что видит куклу впервые. Тем более, если куклу примут хорошо.

Но Катя ошиблась. Наталка чуть голос не сорвала, когда увидела “Маленького принца”.

– А это еще что такое?! – грохнула она. – Откуда этот чахоточный?!

Куколка, стройненькая, хрупкая, стояла среди стола, протянув к Наталке беленькие ручки и глядя на нее снизу вверх с грустным недоумением...

Далее последовала баталия, какой не помнили и самые старые сотрудники. Наталка потребовала отклонить игрушку и обязательно записать в протоколе, что она упадочная и вредная по духу.

– Вы хотели бы иметь такого внука?! – кричала она через стол Анне Даниловне.

Тут все впервые услышали, что и Анна Даниловна может кричать.

– Да! Очень бы хотела! – при этом мешочки у ее рта запрыгали от возмущения.

Вот тогда-то Юлия Юрьевна, как-то очень мило усадив куколку на своей ладони, сказала: “У нас в Москве...” – но об этом уже упоминалось в начале повествования.

По дороге на вокзал Катя размечталась, как ребенок. Ослепительные картины теснили одна другую. Уже слышалось громкое “ура”, обещанное Юлией Юрьевной. Представлялись интеллигентные, тонкие лица людей, которых она знала только понаслышке, по работам. Замирало сердце при мысли о том, что люди эти поймут ее и примут, как свою. Она едва подавляла улыбку, воображая себе, как, оттиснутая куда-то на край, одинокая, никому не нужная Наталка отводит от нее свой обиженный, завистливый взгляд.

Катя мысленно бродила по залам Эрмитажа под руку с Анной Даниловной, слушала ее тихий рокочущий голосок, сама говорила ей что-нибудь толковое, оригинальное...

Но еще лучше было представлять себе, как она с Анной Даниловной поселится в одном номере гостиницы, будет сидеть с ней допоздна при лампе, пить чай, готовить для нее замысловатые бутерброды.

Катя знала, что нигде люди не сближаются так легко, как в гостинице и в купе поезда. Она рассчитывала приехать на вокзал пораньше, чтобы помочь Анне Даниловне устроиться, уложить ее вещи, принести постель.

У зоопарка такси попало в пробку, а потом еще раз, на площади Победы. И когда Катя открыла дверь купе, оказалась, что все четыре ее спутницы уже устроились наилучшим образом. Не было никаких следов недавнего конфликта. Командировочный с верхней полки как раз перебирался в соседнее купе. Все – кроме, разумеется, Дины Львовны – вовсю курили. Анна Даниловна обучала Юлию Юрьевну раскладывать какой-то несложный пасьянс. Кате она кивнула очень приветливо, но коротко, продолжая бормотать: “На бубнового туза кладут бубновую семерку, потом бубновую восьмерку и так до дамы...”

Забросив на верхнюю полку свою сумку и пальто, Катя вышла в коридор. За окном сменяли друг друга пустые поля серого снега и унылые стенки голых деревьев, заслоняющих горизонт. Из-за двери купе доносился недовольный голос Анны Даниловны. “Ну ладно... Что-то у меня сегодня не получается... Тут наверху должны лечь четыре дамы... Я вам в гостинице покажу...”

Катя сходила в купе за журналом, втайне надеясь, что ее попытаются задержать. Но Анна Даниловна лишь вежливо поинтересовалась, что она читает, и одобрительно кивнула вслед, услышав название пьесы Ионеско.

“Носорог”... В коридоре, на откидном стульчике... Казалось, и этой пьесе, и этому серому дню не будет конца.

Когда старухи засобирались обедать, Катя отчего-то вдруг смутилась и вместо того, чтобы достать приготовленную матерью еду, отправилась в вагон-ресторан. В ресторане было почти пусто, и некоторое время Катя скрашивала одиночество говорливой официантки.

Вернувшись к своему откидному стульчику, Катя обнаружила, что читать уже темно. В негустых сумерках начали загораться первые блеклые огоньки, от вида которых стало совсем неприятно. Стекла пахли пылью, дуло в лоб.

В купе то ли снова собирались есть, то ли не прекращали. Дымился в граненых стаканах кофе. Катю пригласили за стол, но она сказала, что уже поела и очень хочет спать. Ее не стали уговаривать. Она взобралась на свою полку – и действительно заснула. А то бы знала, что старухи вовсе не забыли о ней. Например, Юлия Юрьевна спросила, не мешает ли ей папиросный дым. На это Дина Львовна ответила, что Катенька – человек воспитанный и никогда не созналась бы, даже если бы дым ей мешал. Анна Даниловна согласно кивнула, а Наталка крикнула не то одобрительно, не то с иронией.

– Молодость! – позавидовала Юлия Юрьевна. – Не успела лечь – и уже спит. А какая она все-таки прелесть! Эти глаза, эти локоны медные! Ей надо сделать куклу такую же, как она сама!

– Ну вот! А я о чем же? Я же от нее этого требую уже два года! – прохрипела Наталка и вдруг добавила с неожиданной симпатией: – А она мне говорит, что это будет слащавая кукла!

Все умиленно посмеялись.

– Возьмите Гаврилову, – продолжала Наталка. – Я от нее и не требую! Что с нее возьмешь? Какая она сама редька прошлогодняя – такие и куклы! Или Разгон. Все от него без ума, а я вот не боюсь сказать: куклам его не хватает... приятности!

– Ну... – перебила Юлия Юрьевна. – Вы, значит, Разгона не видели! Он просто красавец! Характер у него паршивый – это точно. И у кукол такой же, тут вы правы. Он на прошлом совете куклу показал... Вот такую, сантиметров пятьдесят. Форма – потрясающая! Но это же настоящая бандитка! Вот сейчас она влезет в песочник и у всех детей игрушки заберет!

– Мне лично больше нравится Баранников, а еще больше – Эльберт, – продолжала Наталка. – У него куклы без вывертов, но такие симпатичные, такие приятные, как он сам!

– Да, – подхватила Дина Львовна. – Эльберт – это море обаяния, и куклы его тоже, хотя Анна Даниловна, наверное, со мной не согласна.

– Как сказать... – сощурилась на кончик своей папиросы Анна Даниловна. – Его вещи не в моем вкусе. Но по-своему – они вполне теплые, достойные...

– Культурный художник, – поддержала Юлия Юрьевна. – Но форма у него, по сравнению с Разгоном, простовата. И образы немножко однотипны. Слишком быстро он их штампует.

– Как по мне, – сказала Наталка с мечтательным удовольствием, – разогнать бы всю мою лавочку и взять вместо них одного Эльберта.

– А зачем ему это? – беззлобно удивилась Анна Даниловна. – Он и без посторонней помощи прекрасно продает свои игрушки!

– И то правда, – согласилась Наталка. – Он человек практичный. Знает, как с кем поговорить. И не жадный. Не то что Разгон, который два года судится с комбинатом из-за ста рублей. Эльберт знает, что иногда выгоднее потерять, и не боится отблагодарить кого надо. Это у него национальное.

Бедная Дина Львовна не знала, чувствовать себя обиженной или польщенной. Лицо ее пошло нервными пятнами.

– К вашему сведению, – сказала Юлия Юрьевна, – Разгон тоже еврей. А что до их практичности... Есть, конечно, множество практичных, деловых, хорошо приспособленных к жизни. Но я вам скажу по личному опыту: таких беспомощных и неприспособленных, какие бывают евреи, я тоже не встречала. У меня первый муж был еврей. Прекрасный человек! Но с ним невозможно было жить! В быту бестолковый, людей боится! Любая мелочь для него проблема. Не дай бог послать его за какой-нибудь справкой – он разрыв сердца получит! Или там слесаря вызвать на дом. Ка-а-ак! Он же может что-нибудь потребовать! Он же будет по дому ходить! Он же... Лучше месяцами кран обматывать тряпочкой. – Она вдруг рассмеялась. – Как-то у него нога разболелась. И все хуже и хуже. Воспаление какое-то на ступне. Совсем уже ходить не может, а к врачу идти боится: вдруг ему скажут, что это рак. Не знаю, что мне вдруг пришло в голову... взяла его сапог и перевернула. И что же! Оттуда вылетает здоровенный гвоздь! Вот такой! Ну скажите: как можно было месяц ходить и не замечать этого?! И ведь не дурак, не умственно отсталый! Кандидат наук, образованнейший человек! На работе его боготворили, а я такого могла бы о нем порассказать... Я его очень любила! Но не выдержала. Мне в жизни необходима защита, опора! – вдруг отрезала Юлия Юрьевна своим решительным мужским голосом.

И все взглянули на нее с тайным недоумением.

Опустевшие стаканы дребезжали в подстаканниках, ездили по полочке туда-сюда. Темнота за окном становилась все гуще и равномернее.

– Э-э... – неожиданно вскинулась Анна Даниловна. – Мой был русский – и точно такой же! Ни гвоздь забить, ни вкрутить лампочку. Я в семье и за женщину была, и за мужчину. Ни о чем не думал. Хуже ребенка! Есть позовешь – сядет, поест. Сам никогда не возьмет себе. Иногда, бывало, уеду по делам на целый день, вернусь к ночи усталая, замерзшая, а он сидит голодный, радуется, как ребенок, что я ему сейчас чай вскипячу, на стол поставлю... И ведь не работал! Не по своей вине, конечно. Это его трагедия была... В свое время он был очень известным архитектором. Строил храмы, колокольни. В провинции по большей части. Он очень тонко чувствовал пейзаж! Кажется, вот уж неказистый ландшафт! А он поставит какую-нибудь колокольню на пригорочке, церковку над озерцом... И такое очарование! Будто все это он сам придумал: и горизонт, и небо... А церковка эта – завершение, последний штрих.

Анна Даниловна помолчала, аккуратно стряхнула пепел с папиросы.

– Кое-что до сих пор стоит. Раньше я выбиралась взглянуть, а теперь не могу, дорога тяжелая. Все запущено, разрушается... Я думаю, он был гений. Я его боготворила. Мне и в голову ни разу не пришло сказать ему: пойди, мол, поищи какую-нибудь другую работу. Когда мы поженились, я была молоденькая барышня-декадентка, в дочери ему годилась. Он называл меня “моя нефритовая ваза”... И вот эта “нефритовая ваза” надевает стеганые валенки, повязывается серым платком – и стоит целый день на толкучем рынке с какой-нибудь горжеткой и вязаной скатертью... Курит самую дешевую махорку. Руки красные, потрескавшиеся, потому что стирать приходилось в холодной воде. И ни разу он мне не сказал: “Знаешь, Аня, давай продадим что-нибудь из моей коллекции”. Конечно, тогда старинный веер или статуэтку японскую нельзя было хорошо продать, но он бы не стал продавать, даже если б ему миллионы предложили...

Проснувшаяся к этому времени Катя чуть не охнула от удивления. Все, что рассказывала Анна Даниловна, было известно ей от друга-поэта. Но тот всегда просил Катю никому ничего не рассказывать о прошлом Анны Даниловны – ни о муже, ни о его церквях, ни о его коллекциях. Он говорил, что обо всем этом известно лишь очень немногим.

Катю слегка сместило в нем такое чувство причастности к великим тайнам. Она была уверена, что организацию, страх перед которой омрачил все жизнь Анны Даниловны, давно уже не интересует – а, может, никогда и не интересовал старичок, возводивший когда-то церкви и мирно умерший в собственной квартирке. Другое дело – коллекция вееров или японских статуэток. Вполне разумно было помалкивать о них, опасаясь воров. Еще понятнее было нежелание Анны Даниловны развлекать любопытных подробностями своих отношений с Хлебниковым или Андреем Белым.

И вот Катя лежала на верхней полке и слушала, как Анна Даниловна выкладывает все свои тайны – и не лично ей, доверительным шепотом, а совершенно посторонней Юлии Юрьевне, хамовитой Наталке, Дине Львовне, которую не ставит ни в грош! Да что там! Любой, кто надумал бы остановиться у распахнутой настееж двери купе, мог послушать и про нэцке, и про гравюры, и про многое другое...

– ...Короче, он дома сидел, а я семью кормила. Однажды я на него так обиделась – ну просто готова была уйти! Мама не позволила. Представляете: как раз в самый голод мне удалось выменять на горох свои последние туфли! Нам бы этого гороха на неделю хватило. И что же он сделал! Взял да и сменил его на большой ониксовый крест! Он и сейчас не слишком-то ценный, а в то время вообще ничего не стоил. Я ему сказала: “Бог с ним, с горохом, как-нибудь перебьемся! Но это ж примета плохая, это же к несчастью: чужой крест в дом принести! Сейчас же отнеси туда, где взял!” Он оделся, пошел... Через несколько лет у меня наперсток далеко под буфет закатился. Полезла я туда линейкой – а оттуда... И, главное, время-то какое было! Без всяких примет одни несчастья! Людей каждый день так и выкашивает! Сегодня один исчез, завтра – другой... Поверите, мне даже стыдно было, что меня не трогают! Всех близких забрали, а я, как заговоренная! Иногда думала: хоть бы уже скорее! Я за себя не боялась. Только за него,

за маму. Да-а-а... Снова потребовала отнести. Хорошо, он унес вроде... А уже во время войны полезла я как-то на антресоль искать, не заваялось ли там что-нибудь: мыло или спички... Вижу – какая-то коробочка незнакомая. Я обрадовалась, открываю, а там снова этот крест, тряпочкой обмотанный. Я уже ничего говорить не стала. “Значит, – думаю, – это моя судьба, мой крест. Надо нести”. Мама покойная все повторяла перед смертью: “Видишь, Аня, ты на него обижалась всю жизнь, а он тебе старость безбедную обеспечил”.

– Вы сдаете вещи в антикварный? – поинтересовалась Юлия Юрьевна. – Учтите, там часто обманывают!

– А я бы такого ни за какую коллекцию не стала терпеть! – вклинилась Наталка. – Ей-богу, взяла бы качалку и дала по спине! Мой и зарабатывал, и в доме что хочешь мог починить, а я на все плюнула и разошлась с ним! Зачем оно мне надо: его носки, кальсоны! Как прачка бесплатная! Я полотенцем месяц вытираюсь – и оно чистое, а у него делалось черное за три дня! Каждый день борщ ему подавай, а он тебе будет указывать: то тебя кофта слишком обтягивает, то ты подмигнула кому-то... А я была веселая, компанейская, любила пошутить...

Она вдруг прыснула самодовольно, и, бегло зыркнув на полку, где “спала” Катя, но, не понизив голоса, продолжила:

– У нас в квартире попик жил. Огромная была коммуналка. Коридор дли-и-нный. Все соседи – наши, заводские. Я даже не знаю, как он к нам попал. Там была комнатка... Самая маленькая, угловая. И на что он жил – тоже неизвестно. Видно, кто-то помогал ему. Он из дому почти не выходил, всегда торчал в этой своей комнатке. Ждал, пока все наши на работу поуходят, и тогда только шмыгнет в уборную или на кухню. А я стою под дверью и жду. Разденусь догола, одни туфли оставлю на высоких каблуках. Понаставлю на поднос грязной посуды... Только услышу, что он потащился с кухни со своим чайничком, выскочу ему навстречу с подносом и как ни в чем не бывало: “Здравствуйте, Александр Тимофеевич!”

Тут она подавилась дымом, расхохоталась, раскашлялась.

– А я девка была фигуристая, мясистая! Он, бедный, бегом, об ряску спотыкается, кипятик разлил...

Анна Даниловна опустила глаза. Утонченная скабрёзность ее улыбки относилась не столько к самой выходке Наталки, сколько к ее сходству с эпизодом из известного романа. По выражению лица Юлии Юрьевны можно было заключить, что и она уже успела прочесть Булгакова. Что же до Дины Львовны, то у нее от возмущения таким бесстыдством на некоторое время пропал голос.

– И ваш муж об этом узнал? – спросила она наконец тоном народного заседателя.

– Еще чего! Он бы меня убил! Такой был хам, земля ему пухом! Вторую жену посадил дома и работать не давал. Я ее как-то встретила после войны. Наделал ей троих детей, а сам погиб в сорок втором!

– А у вас от него детей не было?

– Ни от него, ни от кого другого. Я больше замуж не выходила. На черта оно мне, все это! Если мне мужик нужен был, я всегда могла его найти. Без борщей и без стирок. Вы же фронтовичка, сами знаете, – обратилась она к Юлии Юрьевне. – После фронта на такие вещи смотришь проще.

И слово “фронт” прозвучало у нее так нехорошо, что все поморщились, и Юлия Юрьевна в особенности.

– Мой муж тоже погиб на фронте, но я уверена, что он до конца был чист передо мной! – продекларировала Дина Львовна, часто моргая, и тут же вытянула из сумки фотографию, представила, как вещественное доказательство. – Вот он.

На фотографии четверо девушек сидели в рядок, а молодой человек в вышитой рубашке стоял сзади, неудобно опираясь локтем о спинку стула. Кстати, Дина Львовна,

вполне опознаваемая, сидела с противоположной от него стороны – так сказать, вне всякого контакта...

Наталка зыркнула боком на фотографию, не пряча иронической ухмылки.

– Я тоже могла много раз выйти замуж, – продолжала Дина Львовна, игнорируя явное недоверие окружающих. – Но я была верна памяти мужа! К тому же я должна была поставить на ноги сына... Приемного, – уточнила она с неохотой. – Но теперь я вижу, что нужно было создать новую семью и родить собственных детей. Я в этого ребенка вложила очень много сил, много любви. И все это пропало даром! Он чужой мне человек. И сейчас, на старости, мне чрезвычайно горько это сознавать!

– А! – взмахнула рукой Юлия Юрьевна. – Старость – всегда гадость. И свои дети ничуть не лучше приемных. У меня тоже нет детей, но я не жалею об этом. Я смотрю на детей своих знакомых и вижу: что с ними, что без них – одно и то же!

– Оно конечно... – крикнула Наталка. – Дети не нужны, пока тебя ноги носят и ты можешь сам себя обслуживать... Я только думаю всегда: хоть бы мне умереть на ходу! Или во сне! Как Софья Петровна.

– Да, она умерла, как святая, – с ласковой завистью покивала Анна Даниловна. – Это заслужить надо. Не дай Бог никому мучиться, как моя мама!

– Или мой отчим! – поддержала Наталка. – Ой, как я с ним навозилась! Уж на что я его любила, а тут дожидаться не могла, когда все кончится! Ну да что делать... – приободрилась она. – Слягу – придется чужим платить. Оно, может, и вернее – за деньги. Слава Богу, есть чем. Я очень богатая! У меня хрусталия – полный дом! Серебро! Отрезы дорогие! Особняк в Малютинке! Двухэтажный! С огородом! С садом! От отчима остался. Не пропаду.

– Я тоже обеспечена, – с суровой скромностью отметила Юлия Юрьевна. – Денег я не держу. Все вкладываю в антиквариат. Иконы, складни. Я распорядилась так: друзья в случае чего будут их по мере надобности продавать и оплачивать сиделку. А треть денег я велела им брать себе, за хлопоты. Мне одолжения не нужны!

– Да, – подхватила Анна Даниловна, – я тоже не буду обузой для своих близких. Конечно, они мне помогли бы и без всякой награды. Но все равно: приятно знать, что и я для них что-то сделала. Я им сказала, что именно из моих коллекций передать в музей. Остальное они разделят между собой поровну. Думаю, мне при жизни ничего не придется распродавать. У меня хорошая пенсия, мне хватит.

– У меня тоже неплохая пенсия, – заморгала Дина Львовна. – Для меня вполне достаточно. Главное – найти порядочных людей, которые не стремятся на тебе нажиться! Вот я думала, что нашла таких – и сильно поспешила! Все свое добро им отдала: постель, посуду, пианино “Беккер”... Им понадобился стул – я им стул отдала из гарнитура! И что же! Оказалось, что они просто хотели свою квартиру и мою поменять на одну трехкомнатную! Я к такому шагу не готова. Пусть я неважная хозяйка, но меня устраивает и моя кухня, и мой нынешний быт.

Юлия Юрьевна сказала, что она лично хозяйка никуда не годная, что готовит она хорошо, но в доме у нее кавардак и повсюду полные пепельницы.

За ней Анна Даниловна стала каяться, что дом у нее безалаберный с тех пор, как умерла мать. Она лично старается, чтобы в буфете всегда был хлеб, чай, кофе и водка, а остальное берут на себя ее подопечные. Также не слишком хозяйственные. Что же до пепельниц, то с ними и у нее беда.

Наталка же будто решила всех перещеголять: похвастала, что пепельниц у нее и вовсе нет, а окурки валяются по всему дому в суповых тарелках. Что все белье у нее в мелких дырках, потому что она любит курить в постели. Что за шторкой у нее стоят чемоданы, привезенные после войны из Германии, и она за двадцать с лишним лет не удосужилась их разобрать. Забыла даже, что там лежит.

Дине Львовне стало неприятно. Получалось, что она такая же скверная хозяйка, как и ее попутчицы. Она попыталась было уточнить, что именно имела в виду под словом

“неважная”, но так и не смогла вклиниться в разговор. Впрочем, другая мысль отвлекла ее: Дина Львовна вспомнила, что забыла вечером закапать глазные капли, и поспешила в туалет мыть руки. Как только спина ее, полная достоинства, отплыла за дверной проем, Наталка известила Юлию Юрьевну, что Дина Львовна – старая дева и никакого мужа у нее и в помине не было.

Юлия Юрьевна, не заинтересовавшись этим сообщением, сказала, что ей тоже надо закапать глаза, и стала рыться в сумочке.

– У вас что? – спросила Анна Даниловна, указывая подбородком на импортную бутылочку.

– Катаракта, – ответила Юлия Юрьевна и очень ловко капнула себе в оба глаза.

– У меня тоже, – вздохнула Анна Даниловна. – Но я пропущу один раз.

– И у меня катаракта! – порадовалась такому совпадению Наталка. – Но я не капаю. Не верю я в это дело. Придет время – вырежут, и все.

Она взяла на плечо полотенце и, тяжело сопя, выбралась из купе. Тут возвратилась Дина Львовна и с порога спросила Юлию Юрьевну, знает ли она о том, что Никоненко в своих иллюстрациях к “Волшебнику изумрудного города” изобразил Наталью Тарасовну в виде ведьмы Гингема. Юлия Юрьевна, уже было закунявшая, оживилась и сказала, что с нее следовало бы нарисовать гоголевскую Солоху. Анна Даниловна одобрительно расхохоталась.

– Вот именно Солоха! – восхитилась Дина Львовна, окрыленная светским своим успехом. – Мне неудобно об этом говорить... – понизила она голос. – Наталья Тарасовна – фронтовичка, член партии, ответственный работник, но все это не мешает ей состоять в интимной связи с собственным главным инженером! Женатым человеком! – прибавила она, разочарованная вялой реакцией своих собеседниц.

Катя на верхней полке вся затряслась от подавленного смеха. Она подумала, что Анна Даниловна, пожалуй, сейчас смеялась бы во весь голос, если бы представляла себе, о ком идет речь. Конечно, главный так благоговел перед Наталкой, что готов был для нее на все, но уж слишком для него она была стара и огромна, да и кабинетик ее для таких дел никак не годился. В Катином воображении возникла картинка: Борис Маркович склоняет над столом директрисы свою цветущую мордочку, а Наталка протягивает толстенную руку и плотоядно щиплет его за тугую смуглую щечку. Он преданно ей улыбается, светя двумя белыми заячьими зубами...

– Пора ложиться. Пойдем, пожалуй, и мы умоемся, – предложила Анна Даниловна Юлии Юрьевне, как будто боялась, что если она выйдет одна, то и о ней будет рассказано что-нибудь непотребное.

Как только они вышли из купе, Катя рассмеялась вслух.

– Что тебя так развеселило? – насторожилась Дина Львовна.

– Кто вам сказал такое... про главного и Наталку? Вы бы на него посмотрели, на пупсика нашего. Он моложе ее лет на двадцать!

Дина Львовна подышала снисходительно, выглянула в коридор и ответила:

– Сказали, Катенька-детка, люди, которых не проведешь, которые знают всю подноготную этой неблагородной женщины. Которые знают жизнь лучше, чем ты – наивный, чистый ребенок. Вот ты говоришь: на двадцать лет моложе... – Она снова выглянула в коридор. – Я знаю, как ты относишься к Анне Даниловне... и не хочу тебя разочаровывать ни в коем случае. Но если не я, то все равно кто-нибудь другой тебе откроет глаза! Она не та, за кого ты ее принимаешь! Это испорченная женщина, чтобы не сказать – развратница! Она... спит с мальчишками!

– О Боже! – застонала Катя. – Что за ерунда!

– А что, скажи мне, они делают в ее доме? Ты думаешь, для чего она их там держит за шкафами?! Что им за интерес водиться со старухой?!

– Это надо же придумать такой вздор! Да я сама знакома почти со всеми этими ребятами! И я им страшно завидую! Она столько знает! С такими людьми была знакома! Она любому может помочь, посоветовать!

– Что посоветовать?! – ревниво гнула свое Дина Львовна. – Как переспать с парочкой знаменитых людей?! И за это с ней носятся! Я ничего больше не скажу! Я только стараюсь уберечь тебя от большого разочарования.

После этого Дина Львовна аккуратно оттеснила к окну салфетку с окурками, пустыми стаканами и бутылкой, толстой левой ножкой стала на нижнюю полку, ручками уцепилась за обе верхние и довольно лихо утвердилась правой ногой на столике. Затем, сделав ласточку, завела левую ногу на свою полку... непонятно подергалась... и замерла. Подоспевшие как раз к этому моменту Анна Даниловна и Юлия Юрьевна испуганно остановились в дверях и уставились снизу на ее быстро багровеющее лицо, на задранную ногу, на нежно-желтые панталоны, натянувшиеся, как крыло летучей мыши...

Катя, кое-как съехав со своей полки, бросилась босиком за проводницей. У самого тамбура она поравнялась со своей начальницей и попыталась разминуться с ней, но Наталка и сама едва умещалась в узком проходе.

– Проводник! Пожалуйста! – крикнула испуганная Катя.

Проводница сориентировалась неожиданно быстро: видно, готова была к тому, что добром эта странная попойка не кончится. Она даже обрадовалась, когда поняла, в чем, собственно, дело. Окинув быстрым взглядом арабеск, в котором застыла Дина Львовна, проводница подошла к ней, деловито закатила повыше ее задравшуюся юбку, строго приказала ей освободить правую руку и, прижав к своей груди опорную ногу Дины Львовны, стала толкать ее грубо вверх. Зависшее в зловещем полумраке пухлое тело резко изменило свое положение. Но не к лучшему. Теперь уже было совершенно невозможно вернуть злополучную ногу обратно на стол. К тому же стало ясно, что проводница переоценила свою подъемную силу. Она стояла, крепко обнимая ногу Дины Львовны, и коротко с напором пыхтела, как штангист перед последним толчком.

– Я разбужу соседей! – плаксиво взвизгнула Катя и кулаком застучала в стену. Из-за стены доносился глубокий неравномерный храп. Сдвинутая посуда лязгала и билась в оконное стекло. Вагон вилял из стороны в сторону, будто хвост плывущей в черных глубинах рыбы: то ли поезд сворачивал, то ли раньше не замечали, как его болтает.

Три старухи с одинаковыми от ужаса лицами смотрели на прогнувшуюся спину проводницы, ожидая, что она вот-вот сломается. Но многолетняя привычка удерживать валяющиеся на голову матрацы победила: проводница закатила-таки Дину Львовну на ее полку – и, не ожидая благодарности, ушла.

Тут же все забыли о Дине Львовне и стали сочувствовать Наталке, которой предстояло занять свое место в храпящем на три голоса купе. Потом Анна Даниловна приняла какую-то таблетку и предположила, что в эту ночь ей уснуть не удастся. Юлия Юрьевна ответила, что уже и спать, собственно, некогда. Но очень скоро после этого она задышала суровыми рывками. В соседнем купе захрапела Наталка. С места, тяжело и упорно, будто кто-то взялся заводить мотоцикл. Зато все трое командировочных затихли, по-видимому, разбуженные своей попутчицей. Анна Даниловна тихонько ворочалась и побряхтывала на полке. В этом побряхтывании чувствовалось то недовольство, то одобрительное изумление. Через несколько минут она задышала ровно, с легким присвистом. Дина Львовна не спала, и по ее напряженному молчанию чувствовалось, как ей хочется что-то сказать Кате. Но Катя прикидывалась спящей, пока не уснула и в самом деле.

Спали они недолго. По вагону забегали проводники. Включили яркий свет. Кате было как-то тяжело и неприятно. Казалось, ехали, ехали всю ночь и вот въезжают в город, а в городе – вечер...

Ярко горели вокзальные огни. Медленно проплывали мимо окон редкие невеселые фигуры. Катя растерянно прикидывала, как она будет высаживать четырех старух,

выносить их чемоданы и собственные коробки с куклами. Старухи тоже слегка забеспокоились, но вдруг оживились, застучали в стекло: “Эльберт! Эльберт!” К самому окну приблизилась симпатичная физиономия с вертикальной щенячьей трещиной от носа до верхней губы. Эльберт крикнул им что-то ободряющее и стал протискиваться в вагон.

Встреча оказалась очень теплой. Каждая из старух явно претендовала на особо доверительные отношения с Эльбертом, и он не обманывал их ожиданий: с каждой был по-особому предупредителен. Он и Кате успел продемонстрировать свое восхищение ее медными волосами – и явно собирался продолжить в том же направлении, но, заметив Катину хромоту, без всякого перехода угас и остался лишь распорядителен и вежлив.

Привычная к таким метаморфозам, Катя все же слегка расстроилась, но виду не показала. Просто подумала, что Ленинград начинается как-то не так.

Надо сказать, она неправильно поняла Эльберта: то было не разочарование, а остаточная порядочность, не позволявшая ему, женатому, закручивать командировочную интрижку с девушкой, у которой и так достаточно проблем. Эльберт уважал болезнь и, усаживая Катю в такси рядом с Диной Львовной, суетился куда больше, чем того требовалось. На переднем сиденье водрузилась Наталка, сам же ангел-спаситель сел в следующее такси, с Юлией Юрьевной и Анной Даниловной. И хотя Катя знала, что едут они в одну и ту же гостиницу, ее слегка задело то, что Анна Даниловна даже не кивнула ей напоследок, увлеченная обаятельной Эльбертовой болтовней.

Светало трудно и нерешительно. Знакомые силуэты знаменитых зданий почему-то не радовали Катю.

Гостиница – современная и не слишком уютная – оказалась зато в двух шагах от Александро-Невской лавры. Эльберт сам заполнил бумаги и уверенно повел их по длинному гостиничному коридору, бряцая ключами. За ним двигала себя, как сейф, Наталка, несла себя, как хлеб-соль, Дина Львовна, раскачивалась, как конькобежец, Анна Даниловна, забивала каблуками гвозди Юлия Юрьевна... Позади всех устало ковыляла Катя, никому не доверившая своих коробок.

Еще внизу, у окошка администратора, Наталка встретила Петрову, директора Донецкого комбината игрушки, и та пригласила ее на свободную кровать в свой двухместный номер. Юлия Юрьевна с Анной Даниловной, не стовариваясь – будто это само собой разумелось – заняли соседнюю комнату, а Дина Львовна, несколько уязвленная, громко заявила, что хочет поселиться с Катей, хотя выбора у нее, собственно, и не было. Катя, которая еще в поезде распростилась с мечтой о доверительных вечерах в обществе Анны Даниловны, порадовалась хотя бы тому, что ей не придется по ночам слушать генеральский храп Наталки.

Номера их были расположены подряд, и уже через полчаса запах курава просочился под Катину дверь. К полудню запахло крепким кофе. Судя по звукам, Наталка принимала участие в трапезе.

– Ужасный запах! – морщилась на своей кровати Дина Львовна. – Я так рада, что поселилась с тобой! Кошмарная была ночь! Слава Богу, что больше мне не надо пить этот жуткий кофе и слушать их мерзкие разговоры! Ты меня прости, но твоя начальница – просто развратница! Я всегда уважала ее, но исключительно за военные заслуги! А у нее получается, что на войне только и было, что дикие любовные оргии! Она при тебе не говорила, ты выходила как раз... И откуда, скажи мне, у нее такое богатство?

Болтовня Дины Львовны не слишком раздражала Катю, но она все же обрадовалась, когда та не захотела ехать на экскурсию по городу. Вернувшись, Катя застала ее в той же позе, причем Дина Львовна тут же продолжила свой рассказ, будто Катя отлучалась всего на минуту.

– У вашего главного инженера жена – красавица! И сам он такой интеллигентный, такой порядочный! Но – слишком мягкий. А эта накрашенная тумба, пользуясь своим служебным положением, его обесчестила!

Тут она – видимо, по ассоциации – вдруг переключилась на Анну Даниловну.

– И твоя Анна Даниловна хороша! Она, видите ли, мужа своего любила! “Боготворила!” Как же при этом она умудрилась побывать любовницей всех этих Андреев Белых, и Мейерхольдов, и бог знает кого там еще?! И не стыдится писать об этом в газетах! Конечно! А чем бы иначе она привлекла к себе этих наивных мальчиков? Своими папиросами? Своим коньяком? Или своими женскими прелестями, которых у нее, по-моему, и в молодости не было?

Тут Дина Львовна даже приподнялась на локте, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели ее слова на Катю.

Катя вдруг почувствовала, что ей не очень хочется спорить: наверно, она была обижена на Анну Даниловну. Или разочарована. Или все вместе. Да и не нуждалась Анна Даниловна в ее защите.

– Дина Львовна... – сделав над собой усилие, тоскливо сказала Катя. – Мы же сегодня ночью об этом говорили... Я вам все объяснила... Эти “мальчики”... Они ее обожают, они в нее влюблены, конечно – но совсем в другом смысле! Кстати, к ней и девочки ходят. Это все особенные, сложные люди. В семье их не понимают, стараются переломить... А в доме Анны Даниловны получается что-то такое... может быть, даже лучше, чем семья! Она человек образованный, умный, опытный. Она способна любому привить хороший вкус!

– Господи! “Хороший вкус”! Да кто она такая? Художница? Нет. Музыкантша? Нет. Вообще, что она умеет сама? На каком основании ведет себя в Совете так, как будто она – главный специалист? Я тебе честно скажу: если бы не ты, я бы даже в ее сторону не смотрела! Ни за что не поехала бы в Ленинград в таком обществе! И кстати... – помедлив, продолжила она каким-то новым голосом. – У меня такое впечатление, что и Анна Даниловна, и Юлия Юрьевна совершенно забыли о нашей акции! Ведь они поехали в Ленинград ради тебя, для того, чтобы тебя, так сказать, защитить от Натальи, выступить против нее единым фронтом! А что вместо этого? Они чуть ли не целуются с ней! И выкладывают о себе такие гадости, что после этого им и руку подать нельзя! До сегодняшнего дня я считала Юлию Юрьевну интеллигентным человеком... Но теперь я вижу, что правы были те...

Тут в дверь громко стукнули и, не дожидаясь отклика, распахнули ее настежь.

– Дина Львовна! – прохрипела Наталка, неприветливо и с такой усмешечкой, будто слышала из коридора весь их разговор. Папироса прыгала при каждом ее слове. – Эльберт приглашает нас четверых в ресторан на ужин. Через сорок минут подойдете к лифту.

Дверь захлопнулась. Дина Львовна вскочила и тут же стала возбужденно переодеваться, путаясь в рукавах и чулках. Запахло обильно набрызганной “Элладой” и пудрой “Кармен”. Неприглашенная Катя, которую Дина Львовна тщательно избегала взглядом, даже закашлялась.

– Пойду разомнусь, – сказала она и вышла в круглый холл.

Там на кожаном диванчике сидели девочки-анималистки из Чернигова и Харькова.

– Иди сюда! – окликнули они Катю. – Тебя с кем поселили?

– С Диной Львовной.

Девочки хихикнули.

– Перебирайся к нам, – предложила хорошенькая Танечка Плошкина. – У нас четырехместный номер и одна кровать пустая. Да, так вот... – продолжила она прерванный рассказ. – Мы у него практику проходили. Знаете, как это бывает: первый раз попали в Москву. Кинулись по музеям, по магазинам... Месяц пролетел, и никто ничего не успел сделать. Так он всем нашим девчонкам не только сам кукол вылепил, а еще и сам отформовал! А ты говоришь – скупой! Ты чужие глупости не разноси!

– Это о Разгоне? – спросила Катя. – Я тоже слышала, что он судился с комбинатом из-за ста рублей.

– И правильно сделал, если судился! Они, когда рубль переплатят тебе, не постесняются его по почте потребовать, а сто рублей недодать – пожалуйста...

Включили телевизор, Фильм был старый, смотрели его невнимательно, одновременно прикидывая, как бы это забрать к себе Катю и не обидеть при этом Дину Львовну...

Где-то часов в девять вечера нервно щелкнул лифт, и мимо холла на всей возможной для нее скорости, ни на кого не глядя, пронеслась Анна Даниловна, с дрожащим от возмущения подбородком. А минут через десять после нее прокатилась странно поджатая Дина Львовна.

Катя подождала, не появятся ли следом остальные ее попутчицы. Никого больше не было.

– Ты не представляешь себе, что случилось! – встретила ее Дина Львовна, уже переодевшаяся в халат. – Сначала все было просто прекрасно! Эльберт заказал роскошный стол: икру, балык, маслины... Какое-то особенное вино, вроде бы очень легкое... но, видно, все-таки ударило в голову... Разговор был такой хороший, содержательный... А Юлия пила, пила, рюмку за рюмкой ... и стала вспоминать войну... и вдруг предлагает тост... За кого бы ты думала? За Сталина! А эта грубиянка...

И Дина Львовна подробно рассказала Кате о том, как Наталка бросилась к Юлии Юрьевне чуть ли не целоваться, Анна же Даниловна так стукнула своей стопкой о стол, что забрызгала вином всю скатерть. И покинула ресторан. А Дина Львовна сделала вид, что идет в туалетную комнату – и уже оттуда ретировалась.

– Я все равно не пила, – кряхтела она, стаскивая чулки. – Поднимать тост за Сталина! Который уничтожил моего брата и невестку! Который погубил столько ни в чем не повинных душ! А я, дурочка, ничего не понимала, бегала по домам и будила людей в пять часов утра! Как будто они не успели бы в десять утра проголосовать за такого негодяя!

Дина Львовна с чувством хлопнула дверцей шкафа.

– Бедный Эльберт! – продолжала она чуть спокойнее. – Он сидел весь красный и не знал, что ему делать. Он мне когда-то рассказал, что у него до войны расстреляли отца, а после войны – отчима... Но куда ему было деваться, если это он их пригласил и должен был платить по счету?

На следующий день начался семинар. Разумеется, никто уже и не думал ни о каком “едином фронте”. Анна Даниловна и Юлия Юрьевна сидели на разных концах стола и подчеркнуто не замечали друг друга. О Кате никто и не вспомнил. А хоть бы и вспомнили... Авторов поодиночке вообще не представляли. Кукол разложили скопом на низких подиумах. О молодых украинских скульпторах говорили тепло. Как о цельном явлении, никого не выделяя. Правда, Разгон как-то в курилке перебил Наталку, которая привычно плакалась, что ей не с кем работать.

– Чего это вы прибедняетесь! Вон у вас появилась рыженькая девочка – восходящая звезда...

Но Катя этого не слышала, а Наталке это не помешало сразу по возвращении в Киев вызвать ее в свой кабинет и поставить ультиматум: либо та пересматривает свои принципы – либо увольняется из КБ. Неожиданно для директрисы и еще более для себя самой Катя взяла с Наталкиного стола лист бумаги и Наталкиной же ручкой написала заявление об уходе.

И все же никак нельзя сказать, что “акция” Дины Львовны не имела последствий.

Дело в том, что в один из свободных дней Кате удалось побывать в Эрмитаже. Там, в зале голландской живописи, произошло незначительное, на первый взгляд, событие.

Катю остановил сухощавый блондин с обаятельными усами и пугающе прямым взглядом. Он спросил, не из Киева ли Катя, и объяснил, что видел ее когда-то на Крещатике из окна троллейбуса.

– Я тогда еще сказал ему, – небрежно кивнул блондин в сторону своего товарища, стоящего сзади: “Смотри, какая ослепительная рыжуха с этюдником! И хромает, как королева!” Ты помнишь, летом?

Приятель помялся, не то чтобы неуверенно – скорее смущенно, слегка неодобрительно.

– Вы где учитесь? – продолжал незнакомец.

– Нигде, – отвечала Катя. – Я регулярно заваливаю экзамены на скульптурный факультет.

– На скульптурный? – поморщился он. – И хорошо, что заваливаете! Не женское это дело – скульптура! И вообще, с вашим здоровьем надо поступать на графический, в крайнем случае – на живописный... Ну ладно. Сейчас я вас отпускаю. Но вы даете мне свой телефон. Я напишу ваш портрет, а там видно будет. – Он протянул Кате записную книжку и ручку. – Только смотрите, не подсуньте мне телефон какого-нибудь кинотеатра!

Странно, но Катя, которая именно так и поступала в подобных случаях, на этот раз честно проставила цифру за цифрой.

Оставшись снова в одиночестве, Катя вздохнула с облегчением. Что-то опасное почудилось ей в этом человеке, в его слишком светлых глазах, в манере речи, небрежной и несколько не шутовой. И не только ей. Старушка-смотрительница, наблюдавшая эту сцену, поспешила к Кате из своего уголка и шепотом посоветовала не связываться с таким “не внушающим доверия человеком”.

В Киеве на вокзале отец, который встречал Катю, сообщил, что накануне у них изменили номер телефона. “Ну вот, все и решилось, – подумала Катя. – И нечего было пугаться...”

И однако... И однако уже через полгода Катя была женой этого человека. Дина Львовна, приглашенная на свадьбу, подарила молодым шерстяной плед.

Об этом событии Дина Львовна с деланным равнодушием, как бы между прочим, поведала сначала Наталке, затем Анне Даниловне. Наталка всем своим видом показала, что ей это глубоко безразлично. Анна Даниловна, кратко кивнув Дине Львовне, тут же стала рассказывать кому-то, оказавшемуся рядом, о том, что Катя вышла замуж за Вербицкого, очень талантливого живописца, но человека своевольного и даже деспотичного. Что Вербицкий, несомненно, подавит Катину индивидуальность. Причем особенно грустно то, что он считает блажью Катино увлечение игрушкой...

Короче, снова получилось, что Анне Даниловне известно больше, чем Дине Львовне.

Напрасно Дина Львовна расстроилась из-за такой мелочи, напрасно ревновала. После описанной поездки в Ленинград Анна Даниловна ни разу не виделась с Катей. Все эти подробности дошли до нее через общих знакомых.

Что же касается Дины Львовны, то и она виделась с Катей крайне редко – только если заставала ее у родителей. Она так боялась Катиного странного мужа, что даже по телефону не решалась ей позвонить просто так, чтобы поболтать. Все ждала какого-нибудь удачного, основательного повода.

Таким поводом оказалась смерть Натальи Тарасовны.

– Алло! Катя? Катя... Возьми себя в руки... – сказала Дина Львовна патетически, с искренней дрожью в голосе. – Нас постигло большое несчастье... Четырнадцатого числа, в воскресенье скорострительно скончалась Наталья Тарасовна...

Затем голос Дины Львовны несколько окреп и приобрел укоризненную интонацию.

– А чего же можно было ждать, если человек с удаленной почкой и гипертонией хлещет стаканами кофе с коньяком?! И не соблюдает никакой диеты...

И как-то так получалось у Дины Львовны, что люди умирают исключительно от неводержанности и несоблюдения диеты. То есть за себя Дина Львовна как бы могла быть спокойна, поскольку питается правильно и коньяка не пьет.

– ...Она поехала на выходные в свой загородный особняк, жарилась целый день на солнце, а потом нагнулась, чтобы что-то сорвать – и... Только успела сказать, что написала завещание на Петю. Это сельский парнишка-сирота, который помогал ей ухаживать за садом и присматривал за домом. Вот так! Копила, копила, а все досталось случайному человеку! Но я за него рада! Бедный мальчик получил дом, и деньги, и все барахло, которое у нее было в городской квартире. Говорят, там одного хрусталя оказалось полгрузовика! Подумать только! Никто не мог ожидать от нее такого благородства!

Впрочем, по тому, как были произнесены слова “парнишка-сирота”, чувствовалось, что в Наталкином благородстве Дина Львовна сомневается.

Следующий повод подвернулся довольно скоро. Умерла Анна Даниловна. И тут уж Дина Львовна почти не скрывала своего злорадства. То есть начала она так же: “возьми себя в руки... папиросы... коньяк...” и все такое. С искренним сочувствием поговорила о том, что бедная Анна Даниловна промучилась почти три месяца и что пресловутые ее друзья смотрели за ней, как за родной матерью – но с этого места Дину Львовну понесло...

– Конечно! Они знали, что не останутся в накладе. Она объяснила им, что должен взять себе каждый из них. Поделила все поровну, чтобы никого не обидеть. А самые ценные вещи они должны были сдать в музей. И вот они открывают эти ее шкафы и ящики – и обнаруживают, что кто-то из них уже успел все самое ценное вынести из дому. Естественно, они все перессорились. Все подозревали друг друга. Еле собрали деньги, чтобы ее похоронить. Вот так бывает с теми, кто ведет легкомысленный образ жизни и водится с кем попало...

Но и Дина Львовна умерла, несмотря на здоровый и правильный образ жизни.

Кате позвонила Милочка, бывшая секретарша Совета по играм и игрушкам, и сообщила, что Дина Львовна лежит с инсультом в больнице. Что люди, которым она авансом раздала все свои простыни и тарелки, посчитали их расплатой за мелкие текущие одолжения и теперь бросили ее на произвол судьбы. “Пойдем со мной, Катенька! Мне сказали, что нужны тряпки, поильник, ну и витамины там...”

Когда на следующее утро они вошли в палату Дины Львовны, оказалось, что поильник уже кто-то принес, а тряпок и апельсинов имеется больше, чем надо. Соседки по палате рассказали, что к Дине Львовне ходят какие-то люди, что уход в отделении сносный и беременной Кате незачем себя утруждать. “Все равно она никого не узнаёт”.

Большое, неподвижное лицо Дины Львовны лежало, обрамленное пышной сединой – будто плавало среди белоснежной пены...

Катя выжала сок из апельсина и кое-как напоила Дину Львовну. Секретарша сходила к умывальнику, вымыла скопившуюся на тумбочке посуду. Периодически она пыталась докричаться до Дины Львовны.

– Дина Львовна, вы узнаете меня? Я Мила! Мила Ткаченко! Мы с вами в кабинете игрушки работали! Кивните, если понимаете! Или глаза прикройте!

– Оставь, – попросила Катя. – Ты же видишь, она не реагирует.

– Ну, не скажите, – вмешалась в разговор пожилая женщина, привычно морщась и касаясь пальцами лба, повязанного шерстяной косынкой. – Тут ходит к ней мужчина, интересный такой. На грузина немножко похож.

Больные в палате оживились, заулыбались.

– А, это Павлов! – догадалась Милочка. – Василий Семенович!

– Точно, Василий Семенович, – подтвердила женщина.

Она подошла к Дине Львовне, склонилась над ней и с неохотой, будто вынужденная в сотый раз показывать надоевший фокус, сказала:

– Вон до вас тот мужчина пришел, красивый, с усами, Василий Семенович!

Губы Дины Львовны, дрогнув, блаженно растянулись.

– Кто он вам, – продолжала женщина, – брат? Племянник? Знакомый? Любовник?

Дина Львовна вдруг достаточно заметно кивнула.

– Видите, – сказала женщина и направилась к своей кровати. В палате привычно зихихикали. – Вот вы сами попробуйте.

– Дина Львовна! – позвала Милочка. – Это что, правда, что Василий Семенович – ваш любовник?

Дина Львовна снова кивнула, хотя и менее явно.

– Кто это? – спросила расстроенная Катя.

– Да Бог с тобой, – отмахнулась Мила. – Инспектор из нашего министерства. Видно, ему местком поручил. Молодой мужик, ему еще и пятидесяти нет!

– Ну и что? – снова вмешалась та, в косынке. – Вы посмотрите на бабу: она и сейчас вон какая аппетитная!

И снова в палате заржали.

Василия Семеновича Катя увидела на похоронах. У него было очень хорошее лицо, узкое, с чуть островатыми чертами, неотразимыми для женщин, и спокойным взглядом человека, равнодушного к своей привлекательности.

День был снежный и яркий. Василий Семенович смотрел куда-то вдаль, поверх голов, и шурился. Кате казалось, что в этом прищуре скрывается досада и осуждение. Несомненно, он слышал о больничном аттракционе. Как и большинство присутствующих. Это было ясно по мелькавшим то там, то сям неуместным судорожным улыбкам, тщательно прикрываемым перчатками и рукавицами. Желая подавить в себе чувство вины, люди говорили особенно пышно и возвышенно. О том, что Дина Львовна была прирожденным педагогом. О ее повышенном чувстве долга и гражданской ответственности. О том, как она всю жизнь помогала людям. Вспомнили даже фонари на Крещатике. И как она когда-то играла в четыре руки с Перельманом. Договорились до того, что она исполняла Шопена на профессиональном уровне...

Было видно, что Василию Семеновичу слушать эти неумеренные похвалы скучно, что самому ему вовсе не хочется говорить. Но он все-таки сказал несколько слов, суховато и не очень складно – о том, как Дина Львовна в начале войны одна вывела из занятого немцами городка детский дом, в общей неразберихе брошенный на произвол судьбы. Сорок восемь умственно отсталых детей. Как она перебиралась с ними из села в село и в конце концов довезла их до Уфы. И что в каком-то смысле ее можно сравнить с Корчаком.

Короткий, резкий ветер дул Василию Семеновичу в лицо, красиво встрепывал начинающие сесть волосы.

Милочка, стоящая рядом с Катей, заплакала.

– Вот ведь, – всхлипывала она, – столько лет проработали рядом, а я и понятия не имела, что она совершила такой подвиг! Да, уходит наша старая гвардия... Вот и Анны Даниловны уже нет, и Натальи Тарасовны...

– И Антонова умерла... – добавила за спиной у Кати какая-то женщина.

– Да что вы говорите?! Когда? – тихонько вскрикнула другая.

– Перед самым Новым годом... У нее...

Катя не стала прислушиваться. Она не знала, что это фамилия Юлии Юрьевны.

2000 г.